

ГРАНИ

GRANI

52

1962

Postverlagsort: Frankfurt/Main, Dezember 1962

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год издания XVII

№ 52

1962 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

- * * Сказание о синей мухе 5
*
«ФЕНИКС» — журнал московской молодежи 86

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- Н. ТАРАСОВА — «Век крушения вер...» 191

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

- † В. БУНИНА-МУРОМЦЕВА — Беседы с памятью 221

«Сказание о синей мухе», которое мы печатаем в этом номере нашего журнала — произведение своеобразного жанра. Это философская сатира на послесталинское общество, прежде всего, на правящий коммунистический класс.

Уничтожительная характеристика современных «вождей» и «глашатаев» коммунизма, во всей наготе показанные коммунистические нравы, логически доведенная до беспросветного тупика коммунистическая идеология — всё это придает произведению страшную разоблачительную силу.

Негодование и отчаяние, потрясающий своей откровенностью самоанализ героя превращают это произведение в человеческий документ, редкий даже для нашего времени.

Талантливость автора ставит «Сказание...» в ряд лучших произведений современной отечественной литературы. Даже некоторые недоработки и публицистические отступления не снижают сколько-нибудь существенно его художественный уровень.

Рукопись «Сказания...» была передана редакции в начале этого года, но по техническим причинам только сейчас публикуется. Очевидно, это одна из копий манускрипта, так как известно, что по Москве ходят другие экземпляры.

Мы публикуем «Сказание...» в полном соответствии с желанием героя книги, Ивана Синемухова, которого единственным стремлением было сделать свои мысли доступными всему народу.

П а с т е р н а к, В о л ь п и н - Е с е н и н, Н а р и ц а . . . в этот ряд стал еще один человек. Его имя, рано или поздно, станет известно и придаст народу новые силы в борьбе за свободу, в борьбе, которая т р е б у е т героев.

Р е д а к ц и я



Сказание о синей мухе

Господа, земля — круглый вал, люди — отдельные шпеньки на нем, разбросанные, по-видимому, в беспорядке, но всё вертится, шпеньки цепляются, то здесь, то там, издают звуки — одни часто, другие редко, получается чудесная, сложная музыка, называется всемирной историей. Итак, мы начинаем с музыки, переходим к миру и заканчиваем историей; последняя делится на положительную часть и на шансских мух.

Гейне

РОКОВАЯ ВСТРЕЧА ГЕРОЕВ

Спору нет, — синяя муха обладала резко выраженной индивидуальностью.

Наконец ей надоело пренебрежительное отношение окружающих, и особенно философа, мнящего себя, по-видимому, хозяином вселенной. Он в одиночестве трудился на своем поприще. Он писал:

«Глупость всесильна, разум беспомощен. Что может сделать двуглавый орел против миллионноголовой гидры?»

Глупость одержала решительную победу над миром еще в тот гибельный день, когда первый дурак покорился первому злодею. И власти своей над миром не уступит до скончания века...»

Как видите, философ тоже был ярким индивидуумом в своем роде, поэтому скажу несколько слов о его поприще.

Разумеется, муха об этом представления не имела и даже не представляла себе ясно, что это за пицца — философия. Из этого иной сделает вывод, что вряд ли может получиться занимательный сюжет из столкновения философа с мухой, поскольку других персонажей пока в кабинете не заметно. Да и философ любил убивать мух, уничтожал их великое множество, так что герой мой рискует остаться наедине с самим собой.

Но, может быть, дело в других или в другом?

Известно, что философия — если буквально перевести это слово на русский язык — означает любомудрие.

Так считают все люди.

Но муха думала иначе.

Что именно думала она, станет очевидным из ее дальнейших трагических переживаний, борьбы не на жизнь, а на смерть, описанных добросовестно и тщательно, а также из мыслей и чувств самого философа.

Чтобы окончательно не сбиться с пути и цели нашего рассказа, — что весьма свойственно автору, спотыкающемуся на каждом шагу, — целые груды фактов, мыслей, соображений загромождают его путь к цели и порой даже его заставляют забыть о ней, — я перейду к позиции философа на избранном им поприще, а также постараюсь выяснить его собственное неотъемлемое отношение к этому поприщу.

Наш философ, — кстати, назовем его, хотя многие справедливо считают, что назвать человека — это еще ничего не значит, но мне думается, что все же лучше назвать; по крайней мере, если он окажется темной личностью, то уж не меня будут промывать, тащить и не пущать критики и участковые надзиратели, а его самого, его сожителей, соседей, родственников до пятого колена, парт-организацию, в которой он состоял, — итак, его звали Иоанн Си-немухов.

Ну, теперь, когда вы обо всем предупреждены, можно решительно перейти к раскрытию тайн и животрепещущих переживаний моих героев или, выражаясь научно, к раскрытию темы...

Но если бы автору известно было, какая у него тема... Если бы он это знал, он бы ее точно сформулировал, запланировал, подобрал бы материал...

Но в том-то и беда, что темы у него решительно никакой не было, а только одно-единственное событие, которое скорее может показаться смехотворным, чем типичным, как это положено в

добропорядочной литературе, — ха-ха! — Человек и муха, — но погодите смеяться, ибо известно, что кто смеется над собой, потом непременно плачет.

Быть может, вы уже злорадно утешаетесь, что речь идет не о вас — ведь фигурирует только философ и муха. А поскольку вы не философ, значит...

Но извольте еще доказать, что вы не муха. А мне думается, что это доказать не легче, чем то, что вы не верблюд. Все философы почему-то это усердно доказывают. И я никак не пойму, зачем и кому это понадобилось, не говоря уже о том, что верблюд — одно из самых благороднейших созданий, — терпелив, вынослив, может обойтись без всего, не только без хлеба, но даже без воды. А сколько героизма проявляют они во время труднейших экспедиций!

Но я слишком много отвлекаюсь во все стороны. Попытаюсь на время отвлечься к главному, — если не к теме, то хотя бы к тому, о чем я хотел рассказать. Ведь я несомненно о чем-то хотел рассказать. Замечу только, что по тому, как расскажешь, будет оцениваться и то, что расскажешь.

Удивительное дело, — это звучит почти парадоксально, однако верно, как то, что день это не ночь, что белый день — это не черная ночь, а белая ночь — не черный день, что вещь, интересно рассказанная даже о мухе, становится значительной, увлекает вас, хотя вы вовсе не склонны делать из мухи слона. Но это факт, что муха может конкурировать, и не без успеха, с африканским слоном, если о ней расскажет художник, да, да...

Но я всё же отвлекусь от отвлечений, и на этот раз окончательно... Хотя не сомневаюсь в том, что отвлечения и отступления — самое увлекательное и в жизни и в искусстве.

Вот теперь-то я и отвлекся окончательно и перехожу к поприщу моего главного героя, поскольку моя синяя муха, хотя и не отличалась скромностью, всё же не претендовала на роль главной героини. Впрочем, это была ее добрая воля, — к незавидной роли ее вынудила недобрая воля автора, завзятого гуманиста и любителя философов.

За что так мне полюбились философы, я и сам не знаю. Но признаюсь, — прямо до смерти люблю эту породу людей, которая всю жизнь размышляет о жизни, не имея о ней даже такого ограниченного представления, как, скажем, синяя муха, об одной из которых будет речь впереди.

Но есть большая отрада в занятиях философией — то ум вскружится, то затмится, то взлетит, то провалится в пучину. Вы-

водов никаких можно не делать, сказать, что всё относительно, абсолютной истины нет, и на этом основании взять под защиту любое злодеяние.

Один мой старый приятель, упраздненный король одной из не очень великих держав, проявивший себя главным образом тем, что извел чуть ли не половину своего народа, не повинного ни в каких преступлениях, так себя оправдывал:

— Всё относительно на белом свете. И оценка исторического деятеля может быть беспристрастной лишь в том случае, если стать на точку зрения руководившей им идеи. Обычные мерки и сентименты здесь не применимы. Какая у меня была идея? Сделать жизнь совершенной, справедливой, создать образцовое общество. Но для этого надо было, прежде всего, следовать мудрому правилу земледельца, который для того, чтобы вырастить хороший урожай, выпаливает сорняки и очищает поле. С этого я и начал. Всем известно, что мое поле находилось в окружении врагов, заражавших своим тлетворным влиянием мои стада. Ну, естественно, я не мог хорошо разобраться, кто чист, кто заражен. Начав полоть, я заметил, что повсюду высяты сорняки, что им предела нет. Потом вдруг оказалось, когда меня уже сбросили с престола, что все они не сорняки, а цветики. Ну пусть они не виновны в сорном происхождении, согласен, но это еще не означает, что они вообще не сорняки, что у них не было сорнячных замыслов заглушить мое поле и вместе с ним и меня. Мне-то хорошо известно, что все ненавидят начальство — одинаково плохое и хорошее. Мне это очень хорошо известно. Потому что я сейчас живу непрописанным в опереточной державе, передергиваю в картишки довольно крупно, и мне в тысячу раз лучше, чем в то ужасное время, когда я был королем.

Ну вот теперь я уж вволю отвлекся и приступаю к тому, каково же было поприще героя.

Сразу вас огорошу, а уж потом буду приводить в чувство.

Свое поприще — философию — наш герой называл не любомудрием, а **любоглупием** или **филокретинией**. Он даже утверждал, что философы, кроме глупости, еще ничего не придумали, будто они тем и заняты, что болтают маловразумительную чушь и поэтому ничем не отличаются от обычных кретиннов — юродивых, святых, пророков, одержимых и прочих психопатов.

В описываемый нами трагический для синей мухи день она вовсе не предполагала той страшной развязки, которая вскоре на-

ступила, — то ли в силу своей недальновидности, то ли потому, что мухи вообще привыкли к короткой жизни и мгновенной смерти без мук, докторов, вздыханий и самоанализа.

Она купалась в солнечном золотисто-лазурном океане, и если бы ее не привлек пряный аромат левкоев в синей вазе, стоявшей на подоконнике кабинета, возможно ничего не произошло бы.

Но залетев в мастерскую философа и вдоволь насытившись нектаром, хранившимся в белых чашечках левкоев, синяя муха, то ли из озорства после обильной трапезы, то ли потому, что мухам свойственно приставать к людям, особенно занятым важными делами, — но наша синяя муха стала весьма энергично заигрывать с философом, обладавшим чрезвычайно чувствительной кожей и, вопреки общепринятому твердолобию этой породы, особенно нежным лбом, младенчески розовым теменем, переходившим без всяких заметных рубежей в щекотливую плешь так же стремительно, как улица Горького в Ленинградский проспект.

Философ как раз был занят разработкой волнующей проблемы о границах разумной дисциплины, и в эту минуту метал прозные филиппики против идеалистов и субъективистов, смешивавших сознательную дисциплину чуть ли не с овечьим тупым смирением и рабской покорностью.

Он писал о том, что осознанная дисциплина формирует социалистическую личность, становится могучим стимулом, и под ее влиянием человек чувствует настоятельную потребность творить добро для всеобщего блага и не только не причинять зла другому индивиду, но даже мухи не обидеть.

Синяя муха, описав несколько спиралей по кабинету с мерным и независимым жужжанием, села на философскую плешь.

Иоанн Синемухов смахнул ее привычным жестом и продолжал невозмутимо покрывать глянцевитую бумагу крупными каракулями, очень походившими на мух, замерших на липучке.

Должно быть, это привлекло внимание синей мухи, а, может быть, она обиделась на пренебрежительное обращение с нею философа, считавшего, что его жест не мог обидеть муху, поскольку он был человеком социалистического склада.

Но муха была далеко не безобидной. У нее была своя амбиция и поразительная настойчивость в достижении намеченной цели.

Руководясь своей идеей, она неустанно садилась на руки, щеки, лысину, нос, лоб философа, усердно давая ему знать о себе, напоминая о том, что она не какая-нибудь мушка, а синяя муха, величиной с осу, целая мушкетерша с синими крыльями.

Но Иоанн Синемухов терпеливо отгонял ее, продолжая свои изыскания.

Наконец назойливость ее вывела философа из себя. Муха явно не понимала вежливого обращения. Кроме того, не обращала внимания на изящно оформленный плакат, висевший на стене над письменным столом:

«Ты пришел к занятому человеку — не мешай ему!»

Он бросил в раздражении перо, встал и в течение получаса гонялся за синей мухой. Но она не давалась ему в руки, словно ветренная и коварная кокетка; он же, продолжая думать о своей работе, досадовал на строптивый дух, так неожиданно проявившийся в обыкновенной мухе, лишенной элементарной дисциплины.

Стоял знойный летний день, воздух звенел, муха жужжала с дьявольским однообразием и неутомимостью, спина у философа взмокла, запотели стекла очков, он уж готов был свалиться от усталости, как вдруг злосчастная муха очутилась в его влажных ладонях.

— Ступай! — начал он торжественно, бессознательно цитируя Стерна, ибо всю свою предыдущую сознательную жизнь привык, прежде всего, цитировать (для того, чтобы у него родилась самостоятельная мысль в столь неожиданной ситуации, потребовалось бы не менее года).

— Я тебе не сделаю больно, — еще тверже и назидательнее зазвучал его голос, так как синяя муха упрямо билась об его ладони, не внимая словам.

— Я не трону ни единого волоска на твоей голове, ступай на все четыре стороны, бедняжка, мне не к лицу обижать тебя. Свет велик, в нем найдется немало места и для тебя и для меня!

Однако урок благожелательства и мухоловобия не возымел никакого воспитательного воздействия на синюю муху, и на отменное мухоловобие философа она ответила явным человекофобством.

Не успел философ усесться за письменный стол и вновь погрузиться в мысли о разумной дисциплине, доброй воле и прочих превосходных вещах, как синяя муха, с явным злорадным жужжанием, опять влетела в окно и, ударившись с размаху в розовую плешь философа, предельно ужалила его в самую макушку.

Тут Иоанн Синемухов позеленел, швырнул перо, которое обычно клал с чрезвычайной осторожностью, будто оно было сделано не из прочной пластмассы, а из хрупкого стекла, и поддался самому ненавистному для него аффекту злобы и негодования.

Здесь я должен сделать маленькое отступление.

Меня к этому вынуждает добропорядочность человека, который волей-неволей оказался в щекотливом положении судьи, но должен одновременно выполнять также обязанности прокурора и адвоката, — ибо никто больше не хочет, да и не обязан, заниматься конфликтом, возникшим между философом и синей мухой.

Иные даже недвусмысленно заявляли, что автор злонамеренно сочинил этот конфликт, тем самым оклеветав и философа и синюю муху, вовсе не проявлявшую агрессивных тенденций, — с тем, чтобы косвенным образом подорвать теорию разумной дисциплины и доказать, что в нашей социалистической действительности наличествует разгул стихии.

Но всё это, конечно, злостные наветы.

Как вы увидите из дальнейшего, автор вполне объективен, ничего не утаивал и ничего не приукрашивал, нашел в себе силы рассказать до конца эту печальную повесть.

От роли судьи я вообще отказался, ибо не считаю себя вправе судить другого человека, а тем более синюю муху. По этой же причине я отказался и от роли защитника — ибо я никогда не уверен в правоте одного или другого и не знаю, кого мне надо защищать. Ведь преступник — всегда и потерпевший. Раз его поймали и ему предстоит кара по закону, он уже тем самым страдает гораздо больше, чем потерпевший, который по большей части ничего особенного не потерпел и даже торжествует, как это вообще свойственно добродетельным персонажам. К примеру, человек прикончил гнусную старушонку-процентщицу. Ему бы за это благодарность объявить; а его на каторгу ссылают. Я и воров всегда жалел. Ведь не легкая эта профессия. А какой риск. Но это к делу не относится, я перехожу к дальнейшим событиям, которые изложу с протокольной достоверностью.

Конечно, у иных могут возникнуть сомнения. Скажут, что я, сам того не замечая, как известный гуманист, невольно стану на сторону человека и оправдаю его преступление, сделав глубокомысленный экскурс в его психику, в то время как муха будет мной пренебрежительно обойдена, — ибо какая может быть у мухи психика?

Но не забегайте вперед. Ведь само название повести, в котором философ даже не упомянут, показывает, что, будучи гуманистом, я могу сочувствовать и мухам, особенно синим, с незаурядным темпераментом. Не исключено, что именно переживания мухи как твари живой, но бессловесной меня больше всего и

занимают, потому что бессловесные не могут ни лгать, ни изворачиваться, каковыми преимуществами человек обладает в превосходной степени.

И, признаться, меня до сих пор мучает неразрешенная проблема: кто же виноват?

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

И дабы упомянутая... имела свободный вход и выход без каких бы то ни было помех, возражений, придирок, беспокойств, докуч, отказов, препятствий, взысканий, лишений, притеснений, преград и затруднений.

Стерн

Энергичные, непомерно сильные, изобилующие целыми каскадами цветистых, брызжущих, взбитых, как белковая пена, слов, проклятия, которые философ посылал синей мухе по столь незначительному поводу, очевидно и возымели на него самого то сильное воздействие, которое и привело к дальнейшим роковым поступкам. Нет ничего удивительного в том, что слова, произнесенные в состоянии запальчивости, взбудоражили его, душа взлетела на легких мотыльковых крыльях, приобрела жалобную певучесть скрипки.

— О, муха! Синяя муха, проклятая муха, укусившая меня! Прогнавшая мои светлые просторы, муха! Лишенная элементарной справедливости, человечности и разумной дисциплины! Полная докуч, беспокойств, помех и притеснений!

Но на синюю муху слова эти действовали значительно слабее, чем ее равнодушное жужжание на философа. Она с изяществом увертывалась от липких ладоней незадачливого ловца человеческих душ и простодушных мух. Но стоило ему только в изнеможении упасть на стул или на диван, как она тут же садилась на его макушку. И вновь начиналось бешеное кружение по комнате. Так продолжалось в течение часа.

Муха, разумеется, не подозревала, что это ее предсмертный час. Она была весела и задорна, как солдат, хвативший кружку водки нагощак перед большим сражением, о котором ему еще ничего неизвестно, хотя через час он будет уже лежать ничком на бруствере окопа — спокойный и бездыханный.

И когда философ, наконец, прихлопнул синюю муху, уставшую от забав, двенадцатым томом своих сочинений о разумной дисциплине, она, конечно, не успела сообразить, что гибнет — единственное счастье мух, погибающих от руки человека, а не от лап паука.

Вообще обо всем этом не стоило бы и рассказывать, если бы именно с этого часа не началась трагедия философа Иоанна Синемухова, никогда не обидевшего ни единой мухи. Магия слов сделала свое дело, как только он с отчаянием безнадежности воскликнул:

— Убита!

Он вовсе не был схоластом. Но последовательность считал главным в поведении человека.

В конце концов важен принцип. Если сегодня он убил муху, то почему он завтра не может убить жену, которая гораздо сильнее мешает ему работать, уже много раз жалила его куда больнее, чем синяя муха, и не в макушку, а в сердце. Он ей простил студента, с которым она успела провести вечер, и вовсе не предсмертный, в их спальне — студент пришел к нему сдавать зачет и не застал его дома.

А почему бы не убить заведующего кафедрой, который упорно сопротивляется публикации его новой работы, непохожей на прежние?

И где же его собственная разумная дисциплина? Да полно — существует ли вообще на свете дисциплина, хотя бы неразумная?

Дальше — больше.

В эту ночь Иоанну Синемухову уже казалось, что все на свете шатко, нет ничего незыблемого, никому не нужна философия, да и он сам.

Синяя муха так же несправедливо погибла, как и его товарищи, невинно осужденные. Очевидно они тоже кому-то мешали, как мешала ему синяя муха.

Вообще если допустить в принципе, что можно убить живое существо потому, что оно кому-то или чему-то мешает... Или потому, что другому его хочется съесть...

Внезапная мысль:

...точь-в-точь как выращивают и обучают молодых людей, чтобы они потом на фронтах — тех же бойнях — убивали друг друга, так как, видите ли, русские мешают немцам — немцы мешают французам — китайцы мешают японцам, — так давайте все передущим друг друга, чтоб уж никто никому не мешал.

Вот его сына убили на войне, его товарищей расстреляли (его

сын и его товарищи кому-то мешали), а он сегодня задушил си-нюю муху, а завтра хлопнет по башке заведующего кафедрой. Честное слово, этот профессор мешает ему в тысячу раз больше жить и работать, чем синяя муха.

Вот какие неожиданные идеи пришли в голову Иоанну Синемухову на смену размышлениям о разумной дисциплине — ведущей идее мира.

Он неожиданно заорал блатным матом:

— К чёртовой бабушке все идеи! Отныне я больше не философствую. Я становлюсь синей мухой, которая так любила жизнь, и которую я убил. Теперь я буду на всё смотреть просто, как синяя муха... Эти страшные бредовые идеи сделали из меня преступника. Нет права на убийство. Нет ни одного оправдания. Оправдываться умеет всякий.

«В голове каждого здорового человека происходит регулярная смена тех или иных идей, которые следуют одна за другой, как вереница бредней».

Иоанн Синемухов вновь прочел это признание Тристрама Шенди несколько дней спустя после убийства синей мухи. Теперь он как новообращенный подыскивал себе евангелие по сердцу и плечу.

Все что-то утаивали, приберегали на всякий случай, а, может быть, у них и мозги были подобны дымовой вертушке, непрочищенной, в которой мысли гудели, как ветер, но он все их сбыв с рук, так же, как бредни о справедливых убийствах, благородных темницах, санаторных каторгах, рабской свободе, лакейской критике и тошнотворном счастье.

С той поры философ Иоанн Синемухов жил, как синяя муха в свой предсмертный час.

Очистка ума — дело гораздо более сложное, чем очистка совести.

Совесть податлива. Она охотно идет на любые сделки, покладиста и не очень разборчива. В душе она присутствует только формально, как почетный президиум на торжественном собрании. Другое — ум. С ним поладить трудно. Он упрям, не выносит лесть, неподкупен, справедлив до жестокости. Он не знает снисхождения, как геометрическая фигура. Даже самый незначительный ум всё же велик и чудесен. Недаром должны были пройти миллионы лет, пока в мозгу питекантропа мог образоваться самый маленький ум, примитивный как вздох, однако уже способный поддаться соблазну Змия.

Поэтому Иоанн Синемухов довольно скоро очистил свою совесть торжественным обетом, что отныне будет прост и не лукав, как синяя муха, не пожелает зла ближнему и не сделает его. Для этого, правда, ему пришлось совершить ряд поступков, требовавших волевого напряжения. Но тут разум оказался его надежным помощником, а не коварным другом, как на следующем этапе, когда Синемухов попытался проделать с ним ту же манипуляцию, что и со своей совестью.

Некоторые из его бывших цитатно-твердокаменных единомышленников утверждали, что трудность очистки разума от мусора и заблуждений заключается в том, что он защищен от постороннего вторжения бастионами убеждений.

Иоанн Синемухов потратил немало времени для проверки этого положения опытным путем как на себе, так и на других, и вскоре убедился в том, что бастионы эти, названные убеждениями, в действительности являются заслонами, сквозь которые почти никогда не могут проникнуть никакие подлинные убеждения, обычно недолговечные, закономерно изменчивые. Эти же были обыкновенным камуфляжем, за которым хранился всякий мусор, выдававшийся его владельцами за драгоценные сокровища.

Иоанн Синемухов, — кстати, по паспорту Иван Иванович Синяев, уроженец Орла, пятидесяти лет от роду, профессор, один сын убит на войне, второй — двадцати лет, студент кинематографического института, жена Евлалия Петровна, сорока лет с хвостиком, хвостик у тоже девять лет, в меру сварлива, домашняя работница Катя, девятнадцати лет, неполное среднее образование, не переносит идиотизма деревенской жизни, дочь бригадира шабашников, соблазненная студентом-кинематографистом во время командировки в колхоз на съемки, — канитель продолжается... — Так вот, Иоанн Синемухов, как он теперь подписывался, — впрочем, его новый труд, подписанный этим именем, еще не стал евангелием от Иоанна, — так вот, Иоанн Синемухов, кстати, он вовсе не претендовал на роль Иоанна Предтечи, не желал, чтобы голова его была преподнесена на блюде даже Саломее, хотя и претендовал на роль пророка, после убийства синей мухи, но сугубо прозаическую...

Так вот Иоанн Синемухов, изобретя множество разных пророчеств, хотел проложить дорогу к людям, — а ведь это самое трудное на свете, — и меньше всего это умеют делать пророки...

Задумав сделаться простым, жизнерадостным, целеустремленным и незлобивым, как убитая им синяя муха в предсмертный

час, и желая, прежде всего, очистить свою совесть и разум... — но накопилось уж очень много придаточных предложений, и я никак не могу подойти к главному, да и сформулировать его трудно. Однако я надеюсь, что вам уже ясно, в чем дело.

ПРОСТОТА, КОТОРАЯ ХУЖЕ ВОРОВСТВА

Самое примечательное, что захватывало сейчас Ивана Иванovichа, когда он во всех деталях восстанавливал в своем воображении предсмертный час синей мухи, это была ее явно выраженная и ярко проявленная свобода воли.

В этой пламенной любви синей мухи к свободе он теперь видел не только мужество, но и героизм, потому что она не могла не заметить, как он гонялся за нею, стремясь во что бы то ни стало изгнать из своего кабинета, который, должно быть, казался ей обетованной землей, раем, а левкою на окне источали аромат древопознания. Пусть у нее было неправильное представление о мире, но разве у него и других оно правильное? Ведь он тоже представлял себе раньше институт философии, книгу, которую он напишет, уютную квартиру, жену — подругу и спутницу, сына, продолжателя его дела, — а что оказалось в действительности? Да и существует ли не то, что рай, а объективная действительность, одинаковая хотя бы для двух мыслящих людей? Говорят, белый свет, а почему он белый, а может быть, черный? Красный? Или серо-буро-малиновый?

Он даже подскочил от удивления, найдя, наконец, уже не гипотетическую, а точную причину происхождения идеализма. Конечно, пифагорейцы, схоласты, томисты, прагматисты — не идиоты или дети, не могут думать, что не существует объективного мира, и будто он не очень хитроумная комбинация философствующих иезуитов. Они просто деловые люди и понимают, с чем имеют дело. У каждого свой мир, тот, который он себе представляет, тот, из которого можно извлечь пользу, приспособить к своим интересам, а если не удастся, самому приспособиться к более удачливому. Поэтому идеалисты считают тщетными все коллективные потуги человечества. Каждый человек — гражданин неповторимого своего мира, конкурент прочим. И не может быть общих интересов или одинаковых стремлений — в мире каждого человека свои законы, свои цели, свое счастье. Единственное благо, равноценное для всех, это — свобода действий, независимость, как у диких зверей, которых потому и называют дикими, что они не же-

лают покориться человеку и быть им съеденными, а предпочитают сами съесть человекообразных тварей.

Он, Иоанн Синемухов, чтобы приобрести благоденствие, написал трактат о разумной дисциплине, пока убил синюю муху, другие убивают миллионы людей. Но кому нужен его трактат, да и эта хваленая разумная дисциплина, которая по сути дела — известная теория о согласии большинства жить для блага немногих, то есть добровольно уступить им все прелести жизни во имя будущего, которого они не увидят, и которое вообще вряд ли будет?

И даже если существуют такие люди, то он, Иоанн Синемухов, уже им не верит. Они хотят его поймать так же, как он поймал синюю муху, которую, как фальшивый гуманист, сначала изгнал из рая, а потом загнал в ад.

Равенство возможностей и судьбы — для людей, коней, собак и мух!

Так думал Иоанн Синемухов в эти решающие дни.

В развернувшихся событиях, кроме уже известных вам лиц, приняли участие товарищи Ивана Ивановича по институту — Акациев, Дубов и Осиновалтый. Все они были ровесники, всех звали одинаково — Иван Иванович. Все трое обладали примерно одинаковой наружностью, более или менее плотные, с умеренными животиками, солидной плечью, стыдливо прикрытой зачесами жидких волос, одинаковыми взглядами, идеями, окладами, положением в обществе. Все, как они сами говорили, были рядовыми членами партии. Но характеры при всем том были у них настолько различными, что по звучанию речи можно было догадаться, кто из них говорит. У Дубова был характер неукротимо-положительный и устойчивый, как у эталона, хранящегося в палате мер и весов. У Акациева — порывисто-восторженный, но не опасный ни для общества, ни для него, поскольку эта черта не проявлялась в самостоятельном творчестве, а лишь в упоительном и самозабвенном цитировании текстов, которые Дубов произносил в оптимистически-назидательном тоне, а Осиновалтый — трепещущий и припадающий, как лист, напоминающий его фамилию.

Их ученая деятельность состояла только в выуживании цитат, их засолке, хранении, а также в комментировании и в отдельных случаях — в смаковании цитированного текста на страх врагам, подобно тому, как человек высасывает мозговые кости под аккомпанемент враждебного и завистливого урчания псовикотов. Высказывание самостоятельных мыслей они считали выходками ревизионистов и нигилистов.

Впоследствии, став изменником, как его называли столпы, Иоанн Синемухов ядовито писал:

«Эти философы, клявшиеся на каждом шагу Марксом, как правоверные — бородой Магомета, твердившие, как попугаи, что марксизм не догма, а руководство к действию, доказали на практике, что их марксизм — каменная скрижаль, руководство к бездействию или к злодейству.

Необходимо также отметить трусливую беспринципную позицию профессора Ивана Синебрюхова, который развивал свою теорию разумной дисциплины, как слепорожденный, не увидевший, что социалистическая дисциплина ничего общего не имеет ни с свободой, ни с равенством, ни с справедливостью. Получилась пародия, да еще злостная...»

Эта статья, опубликованная тотчас же после двадцатого съезда партии, может быть даже нарочито, оказалась камнем, разбившим вконец относительное благополучие Ивана Синебрюхова, с тех пор ставшего окончательно и бесповоротно Иоанном Синемуховым.

Всё это началось в доме Ивана Ивановича, когда в одну из суббот Академев, Дубов и Осиноватый пришли сыпать очередную пулю, а заодно и посудачить или, как они выражались, потрепаться на невинные темы.

Они только сделали вид, что пришли как в обычную субботу.

Впрочем, сегодня гости и не намеревались ипать в преферанс, судачить и пить цинандалы. Ведь они пришли в последний раз — хлопнуть дверью.

Хозяин знал это и даже испытывал некоторый задор, как бывалый воин перед сражением.

Может быть странно, что такое ничтожное происшествие, как убийство синей мухи, произвело переворот в душе философа. Но мало ли странностей в этом мире, который Иоанн Синемухов совсем не склонен был считать лучшим из миров?

При одном взгляде на гостей хозяин почувствовал, что они сделают все от них зависящее, — а зависело от них очень многое: Дубов был деканом, — чтоб не дать ему возможности совершить великие дела. И вовсе не потому, что их обдумали, проанализировали и признали вредными. Они даже толком и не знали, что именно замышлял Синемухов, однако не сомневались в том, что замышляемое им направлено против всего того, на чем зиждилось их житейское благополучие. Если восторжествует Синемухов, они лишатся всех привилегий, а какое им дело до того, что народ при этом получит множество благ.

Они приняли твердое решение работы его не публиковать — им уже известно было, что Синемухов завершает свой новый труд, носивший претенциозное название — «Социализм истинный и ложный» — они знали, какой социализм он называет ложным. Как он только осмелился! Самая попытка произвести переворот в мировоззрении, предпринятая не сверху, а каким-то неизвестным демагогом, чревата опасными последствиями.

Они приняли твердое решение не допустить также, чтобы руководители партии ознакомились с его работой; для этого они сговорились с известными им докладчиками, главная цель которых состояла в том, чтобы никого не допускать к руководителям, излагал им все в ложном свете.

Синемухов их тоже знал. Даже пытался с некоторыми из них говорить. Особенно ему запомнился Михаил Михайлович Архангелов. Это был тонкий невысокий человек лет сорока, с лицом отроческим, иконописным и болезненным, с нежными голубыми глазами мученика, в которых однако порой всплывали светлые льдинки мучителя, — на вид ему можно было дать двадцать семь.

Разговор с ним так подпряс Синемухова, что он уж не мог его забыть до конца своих дней.

Архангелов вызвал его как раз по поводу этой пресловутой статьи. Но говорить о ней не стал, как будто ее вообще не существовало. Не упомянул и о книге, о которой тоже был осведомлен. Архангелов был вообще человек широко осведомленный и мог бы рассказать множество интереснейших вещей о том, что думает народ, о том, что происходит за стенами монументального здания на Старой площади. Это был безусловно честный человек. Превыше всего для него были интересы партии. Партийная жизнь и жизнь вообще для него были синонимами. Никогда и ни в чем не сомневался Михаил Архангелов. Самые потрясающие события не выводили его из состояния невозмутимого спокойствия. Он никогда не повышал своего тихого голоса. Не потому, что сдерживал себя — он просто не испытывал ни гнева, ни раздражения, не вскипал, не отходил, и Синемухов не мог бы себе представить, что Архангелов вдруг загорелся от страсти, зарыдал от горя, и вообще, что он может быть мужем, отцом, другом, всем чем угодно, кроме партийного работника. Это была особая порода людей, их облик стал для него ясен, когда он познакомился и с другими деятелями, например, Труворовым, Оглядичем, Сытниковым, Курокарповым.

Разговор с Архангеловым он запомнил навсегда.

— Товарищи говорят, — говорил Архангелов своим ласковым

голосом иезуита, — что вы отрываетесь от коллектива, игнорируете партийные собрания.

— Я очень занят, пишу большую работу — это будет новое слово в философии.

— Должно быть, вы болеете, если не приходите на собрание.

— Нет... Я работаю день и ночь. И я надеюсь, что мой труд принесет...

Архангелов глядел на него широко открытыми глазами, в которых всплывали белые льдинки. Это всегда случалось, когда ему приходилось выслушивать нечто, с его точки зрения, непозволительное. Поэтому нет ничего удивительного в том, что на Синемухова он смотрел с явным сожалением.

— Вы должны прийти на собрание, коллектив поможет вам разобраться.

— Но у меня нет времени заниматься болтовней с дураками и иезуитами. Они могут только принести вред и делу и мне.

— Вы больны, товарищ Синебрюхов, — сказал Архангелов тем ласковым голосом, который приводил Ивана Ивановича в состояние, — вы больны, вам нужно лечиться.

— Я уже не Синебрюхов, а Синемухов, — сказал Иван Иванович и вдруг увидел в окне низкое серенькое небо, запыленный тополь спорыжевшими и всклокоченными листьями, такими редкими, беспомощными и мокрыми от недавнего дождя. Надрывно гудел печальный октябрьский ветер. Иван Иванович неожиданно стал думать об этом тополе, который казался ему вечным и неизменным, но в своей неизменности дразняще-непостоянным, как иллюзионист на все той же пыльной эстраде с линялыми небесами и облезлой декорацией.

Уже не глядя на Архангелова, он сказал:

— Да... Невозможно одному человеку понять другого. Как же тогда — партии, народы? Выходит, что и человечества нет, а сборище глухих...

— Вы больны, товарищ Синебрюхов, — с неизменной интонацией тренированного попугая, не меняя выражения лица, говорил Архангелов. — Давайте условимся — вы в среду придете на собрание, я тоже приду, и мы всё уладим...

Он встал, а это означало, что разговор окончен.

Может быть, Архангелов был смущен необычным поведением Синебрюхова. У него был большой практический опыт. И всегда он видел перед собой людей понятных, привычных, смотревших на него, как на начальника, — они говорили тщательно продуманные вещи, в которых не было ничего из ряда вон выходящего, и

вообще на свое звание коммуниста смотрели как на должность по совместительству. Что между ними могла быть разница в убеждениях, даже в оттенках взглядов, — он не представлял себе. Инакомыслящий — это враг, хотя бы он даже думал о том, как скорее и лучше построить коммунизм.

Уходя от него, Синемухов уже забыл о том, что сам говорил, а только с ужасом думал, что Архангелов и другие, стоящие за ним, ничего не понимают в том, что происходит в душах людей, с равнодушием палачей уродуют их судьбы и являются серьезной преградой, которая надолго задержит движение к коммунизму и даже могут повернуть вспять колесо истории. Шаг назад уже сделали в главном — формировании человеческих душ. Большинство коммунистов превратились в отвратительных чиновников, бюрократов, каких свет не видел. «Тщеславие, тщеславие, тщеславие везде — даже на краю гроба и между людьми, готовыми к смерти из-за высокого убеждения. Тщеславие! Должно быть, оно есть характеристическая черта и особенная болезнь нашего века». Уже в который раз вспомнились слова Льва Толстого, и сегодня они ему показались еще более зловещими, чем в те отдаленные времена.

В своей книге Синемухов писал о первых шагах, о том, как отсечь худшие стороны зла, как это некогда рекомендовал Энгельс, прогнать миллионы чиновников и бездельников, в десять раз сократить количество учреждений, покончить с товарно-денежным фетишизмом, отменить всяческие привилегии, создать единое учреждение вместо советских, партийных, хозяйственных, профсоюзных, — имя им легион.

Но все боялись даже прочесть его книгу, а до руководителей нельзя было добраться из-за целой армии охранников, охранявших руководителей от народа.

Иоанн Синемухов знал, что ему не удастся перешагнуть через этот рубеж, ибо давно известно, что тщеславие сильнее, чем слава мира. Он готов был отказаться от своего авторства, стать синей мухой, погибнуть от руки Михаила Архангелова, лишь бы народ получил его безымянный труд. Синемухов думал, что если так пойдет дальше, погибнет сама идея. А это страшнее всего. В доме Синемухова нередко гостили многочисленные родственники — люди простые, рабочие, колхозники. Когда они все съехались на похороны девяностолетней бабки Авдотьи, Синемухов поразился этим людям, словно выходящим из другого мира.

В этот майский день он сделал величайшее открытие. Хотя он

не раз бывал и на фабриках и в колхозах, однако ему нигде не случалось слышать что-либо подобное.

Разношерстные люди эти не могли скрыть своей радости, особенно сыновья бабки Авдотьи, которым уж больше не придется навещать строптивную старуху, да еще выплачивать ежемесячную мзду, и все с нетерпением поглядывали на стол, уставленный закусками и графинами с водкой.

Наиболее колоритной фигурой был отец домработницы Кати, Никон Архипович Дуропляс, высокий, рябой, с опромненным сизым носом и необычайно длинной шеей, как у гусака. Ему уже минуло шестьдесят пять лет, но выглядел он еще молодцевато, не отлынивал от работы, и в деревне у него было хорошо налаженное хозяйство. Он недавно овдовел и жил вместе со старшей дочерью и зятем, человеком тихим и безропотным. Никон Архипович был одно время председателем колхоза, кажется, одиннадцатым по счету после войны, его сменил нынешний — железнодорожный инспектор Брянского узла. На посту председателя колхоза Никон Архипович ничем особенным не выделялся, так же, как его предшественники, пил водку с бригадирами, заседал, ездил в райком и МТС, выступал на собраниях, — то есть делал все то, чего можно было и не делать, — а работал по-настоящему только в своем хозяйстве, так как был непоколебимо убежден, что колхозы это одна видимость, толку с них как с козла молока, за двадцать лет существования его колхоза «Герой труда» колхозники ни разу не получали чего-нибудь стоящего на трудовень, — и когда же всё это кончилось, а хозяйство будет давать доход (не всё будут отбирать за прош), тогда государство отнимет хозяйство, — и крышка. Сын Никона Архиповича, недавно вернувшийся из армии, работал шофером, получал твердую ставку, и у него был другой взгляд на колхоз.

Был среди родственников также заведующий гаражом Петр Афанасьевич и его брат Афанасий Афанасьевич, и третий брат Костя, работавший на фабрике.

Пили одну водку — и женщины тоже. Только хозяйка пила портвейн и презрительно глядела на гостей.

— А у нас опять давеча слушок пошел, что будет обмен денег, — усмехаясь, сказал Дуропляс. — Что же творилось в нашей Вязме. Чисто всю заваль в магазинах посбывали, что никто и брать не хотел. Ловко!

— Так это ж специально агенты этим занимались. Надо же сбывать барахло по дорогой цене. Хорошего товара нигде не найдешь, в Москве и то трудно.

— Хороший товар у спекулянта.

— Так у нас завсегда и будет, ёлки-палки!

— И вовек толку не будет. Потому интереса нет у людей, — говорил Дуропляс. — Во всем недостаток. У нас не то, что сахар или там колбасу, белый хлеб и то не достанешь. Достижения! И сколь это народ терпеть будет?

— До скончания века! — прошумели хором.

— Вот у меня план есть, — сказал шофер Афанасий. — Теперь в Сибири идет разворот. Целина, заводы. А народу жить негде — в землянках... Пока еще построят. И с харчем туго. Так вот у меня предложение. Пусть там объявят нэп, частного допустят. Так народ туда пойдёт... Все казенные чиновники побросают свои места. Вот мы с ребятами говорили — такую можно набрать компанию, да навербовать повсюду — за один сезон сто тысяч домов построим. Каждой семье дом. Только вольным способом. Все раздобудем. Лес сами напилим. Лавки заведем — свиней будем откармливать. Житуха будет — только бы чиновники не вмешивались в наши дела. А то если писаря в дело вмешаются, ни черта не будет. А мы, коль уж возьмемся, так пока писаря будут писать бумажки о доме, мы его уже построим — только бы безо всякого начальства. И не то что сахар-колбаса, пирожные жрать будут.

— Верно! — крикнул захмелевший Петр Афанасьевич, — народ по настоящему делу стосковался. А у нас одна болтовня да писанина.

— По-нашему, — сказал Дуропляс, — надо перво-наперво закрыть канцелярии. Даже в колхозах сидит дармоедов видимо-невидимо. Как собрать их всех вместе, дармоедов-то, то из них целую армию большую можно создать. У нас в районе чуть не тысяча служащих, а и сотня не нужна.

— Что ж тогда будут делать партийные? Они же ничего работать не умеют, только языком.

— А еще профсоюзы — тоже миллион бездельников. К чертям бы их.

— Пусть каждый работает, тогда дело будет.

— Вот я и поворю, — осанисто продолжал Дуропляс. — Как бы учреждений при четверти к ногтю. И первым делом коммунистов на завод, в поле. И колхозникам жалование положить, как в совхозах. А то у нас шиш. А в случае чего, так пусть государство покупает хлеб на базаре, как при царе-батюшке.

— Надо по-югославски!

— А в Югославии от коммунизма остались только рожки да ножки.

— Там коммунизм деловой. А у нас бездельный. Совсем мы пропадем, ежели так дальше будет.

— Но ведь лучше стало сейчас, — робко сказал Иван Иванович, — в колхозе кое-что получают.

— В одном получают, а в пяти шип!

— А эти колхозы-миллионеры — тоже липа. Рудь советский чего стоит! За него и царскую копеечку не дашь.

— Не могут партийные болтуны хозяйствовать в стране, настоящих хозяев надо, купцов, при них Русь богатела, а теперь уж и на стопку водки не хватает.

— А теперь что выдумали. Может, в каких колхозах завелась копейка, так ее отобрать надо — выдумали технику продавать. А чего продавать, на наши же деньги она сделана. Все у нас отбирали, чтоб эти тракторы делать. А теперь опять за них плати. Что ж мы, двужилые?

Иван Иванович был так ошарашен, что не пытался возражать. Гости стали на него смотреть косо и сердито. А, глядя на него с жалостью, Дуропляс сказал:

— Ты, Иван Иванович, напрасно стараешься. От кого ты хочешь начальство защищать? От народа хочешь. Пустое дело. Ты лучше послушай, что народ думает. А то ты и другие очкастые в свои газеты да книги уткнулись, а в них правды и на трош нет. Коммуна ваша от земли оторвана, на небе пасется, вроде как христовы овечки. Не придется она нам ко двору. Хозяйство наладить может только справный хозяин, а не разные секретари, что на машинах шмыгают, ровно кузнечики. Такие только развалить могут — и развалили. Сейчас много хуже, чем при царе, — вот что народ в один полос говорит. Так что поспешайте, а то поздно будет. Мыльный пузырь, сколько ни надувай, всё едино лопнет.

— Ему что, — крикнул опьяневший Афанасий. — Ему за брехню большие деньги платят. Квартира во какая, а рабочий человек, с шестью душами семьи, в одной комнатухе, да еще в подвале. Ему защищать начальство можно...

Иван Иванович даже вздрогнул. Ему показалось, что эти разъяренные лица, сине-багровые от выпитой водки, надвигаются на него, размахивающие кулаки мелькали в дымном воздухе. Даже все женщины что-то кричали, глядели на него сердито и вызывающе — сейчас на него набросятся и начнут избивать.

Какой-то незнакомый толстяк размашисто бил свою жену по лицу. Женщина визжала. Поднялся невообразимый крик и шум. Евладия Петровна заплакала. Иван Иванович бросился к выходу и выбежал на улицу.

Там его встретила непроглядная темень, в которой плавали мутные шары фонарей. Шел холодный дождь. Иван Иванович съежился, будто его хлестали мокрые солоноватые бичи по лицу и губам. И только когда очутился на четвертом этаже большого дома и позвонил, он понял, что стоит у порога Леонида Павловича Останкина.

Вот и хозяин — страшно худой, изможденный, с заострившимися чертами лица, растрепанными волосами, очень походивший на Белинского.

— Ну, иди, иди, чего стал.

Останкин — заместитель секретаря партийной организации института. Как это часто бывает, он во всех отношениях — полная противоположность Осиноватого. И все думают, что его скоро под каким-нибудь предлогом выживут. Останкина избрали в партийный комитет после двадцатого съезда, — пришлось в первый раз в жизни подчиниться воле масс. Еще удивительнее было то, что массы эту волю проявили (Останкина свыше не рекомендовали в состав парткома). Но что поделаешь, отвода нельзя было дать, а на выборах он получил самое большое число голосов. Останкин уже много лет был младшим научным сотрудником. Его диссертацию «Государство и социализм» не только провалили, но еще объявили ему строгий выговор за ревизионистские взгляды; выговор недавно сняли, да и то весьма неохотно.

С Леонидом Павловичем Останкиным Иван Иванович подружился случайно. На партийном собрании, когда Останкин говорил о научной работе в институте, рисуя радужные перспективы, открывшиеся после двадцатого съезда, Иван Иванович с места сказал:

— Ничего не выйдет. Головой ручаюсь.

Осиноватый укоризненно покачал головой и посмотрел на Ивана Ивановича соболезнующе, как на больного. Он тогда сказал:

— Не знаю, чем вызван пессимизм товарища Синябрюхова. Ведь и для слепого ясно, что настали другие времена, аракчеевский режим кончился.

— Из чего это следует? — спросил Иван Иванович с места.

— Хотя бы из того, что уже опубликованы некоторые статьи, резко критикующие те работы, которые раньше считались чуть ли не священными.

Иван Иванович саркастически усмехнулся.

После собрания Останкин подошел к Ивану Ивановичу.

— Почему вы думаете, что ничего не выйдет?

— Вы скоро убедитесь сами... Кстати, вы свою диссертацию не пробовали вновь представить?

Останкин смущенно взглянул на него:

— Вы что-нибудь слышали по этому поводу?

— Нет.

— Пробовал... Дубов и Осиноватый сказали, что и сейчас эта работа такова, что под ней мог бы подписаться Эдуард Кардель.

— Та-а-к... А я тоже пишу.

— Приходите ко мне, подтолкнем.

Так возникла их дружба. С тех пор прошло уже больше года.

Останкин был неожиданно удивлен тем, что Иван Иванович уже ничем не напоминал прежнего. Услышав его рассказ о происшедшей в нем перемене, вызванной столь незначительными обстоятельствами, Останкин сказал:

— Да... Ведь некоторые историки объясняют неудачу Наполеона в Бородине насморком. Думаю, что у вас то же самое. Просто созрели...

— Должно быть так, — сказал Иван Иванович. — Если человек не превращается в труп, хотя бы и живой, всегда приходит такая минута, когда последняя капля попадет в его переполненную душу. А у меня душа была переполнена — очень уж тошно стало от всего, и нет ни одного угла, в котором можно было бы укрыться, да еще семья доконала.

Оба обрадовались, найдя много общего в своих работах. Поиски их шли в одном направлении. Вдвоем уже легче.

Останкин в своей работе «Государство и социализм» доказывал, что эти два понятия на практике несовместимы, — именно государство есть то страшное социальное зло, которое надо как можно скорее преодолеть, чтоб начать не на словах, а на деле строить социализм.

Иван Иванович в своей книге доказывал, что советский социализм ничего общего с подлинным социализмом не имеет, а уведит народ от конечной цели — коммунизма. Основной просчет он видел в том, что мы извратили учение Маркса, сказавшего, что государство это лишь «иллюзия всеобщности», «суррогат коллективности». И еще более важное: «Все перевороты усовершенствовали эту машину (государство), вместо того, чтобы сломать его».

Мы же не только не сломали старую государственную машину, не только не «отсекли худшие стороны зла» (Энгельс) — тут

же, на другой же день после взятия власти пролетариатом, а мы, вместо этого, создали бюрократический Левиафан, какого мир не видел, даже не мясорубку, в которой прежние государства перемалывали свои народы, а душ е рубку, в которой все души превращались в единообразный фарш, из которого, конечно же, не могло получиться социалистического общества, а лишь тот же старый рулет с псевдосоциалистической начинкой. Безличная, блудливая, трусливая толпа занятых бездельников, закостеленных бюрократов, людей, работающих не за совесть, а за страх, — вот результат. И невольно вспоминаются слова Ленина:

«Если мы когда-нибудь погибнем, так только от бюрократизма».

Иван Иванович понимал, конечно, что его труд, начиненный такими взрывчатыми идеями, будет встречен в штывки.

Так оно и было.

Архангелов сказал: — Нет!

Но любопытнее всех оказался Акациев, просидевший восемнадцать лет в концентрационном лагере и лишь недавно реабилитированный. Он-то больше всех возмущался. Именно Акациев считал работы Ивана Ивановича и Останкина антипартийными. Он до того дошел, что даже свое многолетнее пребывание в концлагере, в обществе еще четырехсот невинных коммунистов, считал славной эпопеей, чуть ли не залогом последующих успехов, не признавал преступности тех, которые тысячами загоняли невинных в тюрьмы. По его мнению выходило, что такой тюремный социализм — все-таки социализм, поскольку якобы все фонды являются достоянием трудящихся. Он, конечно, и слушать не хотел о том, что земля, принадлежащая навечно колхозникам, еле-еле давала им на голодное существование, а рабочие за пару башмаков, метр ткани, кусок колбасы или рюмку водки платили дороже, чем тогда, когда земля и заводы им не принадлежали, и что грабители-купцы зарабатывали в десять раз меньше, чем государственные предприятия. В общем, Акациев готов был простить государству любые злодеяния, хотя считал себя величайшим гуманистом и вряд ли простил бы своему товарищу убийство синей мужи. Такой апофеоз холопства Иван Иванович даже не мог вообразить. Но...

Теперь он пришел к убеждению, что человеческое общество вообще оклеветать нельзя — какую бы мерзость о нем ни сочинили, — действительность ее превзойдет.

ОПРАВДАНИЕ ДРУГА

В таком настроении он пришел к Останкину.

— Что с тобой? — спросил хозяин, с тревогой глядя на гостя, мокрого, взъерошенного, растерянного.

Иван Иванович тяжело опустился в кресло и, глядя куда-то в пространство, заговорил так, будто продолжал давно уже начавшийся разговор, и само собой разумеется, собеседник знает всё то, что было им сказано раньше.

— Происходит какая-то катастрофическая чушь, всесветная ерунда, мировой блеф, когда все игроки делают вид, что у них на руках самые крупные козыри, в то время как эти козыри лежат в колоде. Понимаешь, в чем загвоздка: ведь тогда выходит, что самая игра — это жульничество, шантаж.

Останкин слабо улыбнулся:

— Ты ведь знаешь, что я вообще не игрок.

— А я? — встрепетнулся Иван Иванович. — Не выношу никакой игры. Но, оказывается, мы как младенцы играем в жмурки, а думаем, что чуть ли не мир спасаем... тьфу!

— Еще не дошло...

— И до меня... Как это может дойти? Ну, хорошо, мы прокричали на весь мир, что начали новую эру... Это не ново... Мы хвастаемся, что сказали миру новое слово... Ну, хорошо, — вначале всегда бывает слово, такова уж традиция всех летописцев, пророков и апостолов... Но потом оказалось, что за этим словом не только никакого настоящего дела не последовало, но что и самое слово-то сказано без ведома хозяина.

— Народа?

Иван Иванович явно обрадовался:

— Ну, наконец-то, ты догадался... Ведь Россия только и делала, что клялась да божилась народом, возвела его в божественный сан, от его имени мы, передовые люди, так называемая интеллигенция, уже целый век болтаем, а он, народ святой Руси, над нами втихомолку смеется по сей день, считает нас если не дураками, то вредными чудаками. Получается знакомый мотивчик, который вертел еще Достоевский на своей бесовской шарманке. Полное повторение! Помнишь, как Шатов уговаривает Ставрогина стать неким божеством и обещает, что за это ему достанет зайца. «Чтоб сделать соус из зайца, надо зайца, а чтоб уверовать в бога, надо бога»... И вот, понимаешь ли, бог найден, как утверждает Шатов, — заметь, Леонид, — Шатов, а не Максим Горький, который утверждал потом то же самое, а за Горьким и мы, грешные.

Вот как Алексей Максимович поучал: «добудьте бога трудом; вся суть в этом... трудом добудьте... мужицким...» — кричит он истерически. А разве мы не то же самое кричим? Но Алексей Максимович забыл то, что сам недавно говорил: — Ни один народ еще не устраивался на началах науки и разума, которые исполняют в жизни народов лишь должность второстепенную и служебную... Народы движутся силой иной. Эта сила есть сила неутомого желания дойти до конца, и конец этот отрицается. А какой конец? Никто не знает. Добро и зло — одно и то же. Полунаука дает тысячи полуправд, которые мы считаем относительными. Но я уверен, что из всех этих полуправд никогда не получится правды... Я сейчас убедился, что народ не только не считает, что мы чего-то достигли, а, наоборот, — что мы на краю пропасти. Что никакого социализма нет, а одна болтовня, бесхозяйственность, разорение, вранье.

— И впал в отчаяние?

— Впадаю, — сказал Иван Иванович, вопросительно глядя на Останкина.

Тот отрицательно покачал головой:

— Не впадешь. Думать надо. Конечно, — полунаука. Может быть, даже лженаука, как астрология. Но уже у халдейских астрологов было что-то общее с настоящими астрономами. И как известно, на смену астрологии пришла настоящая наука — астрономия. То же самое и с алхимией. Так почему же нельзя думать, что на смену нынешнему марксизму и лжесоциализму через некоторое время, исторически совсем небольшое, век или полвека даже, придет настоящая наука и настоящий социализм. Только ты скажешь, или скорее завопишь, как истый русский человек — дерпежу нет! — Ну, я могу тебе только посочувствовать.

— Ты себе посочувствуй. Меня этим не спасешь.

— Не спасать я тебя хочу, Иван. Наш круг завершается. Конец предвидеть легко. Но я оправдать тебя хочу как друга. Показать твою истинную роль будущим зрителям, потомкам. Мы — русские — обязательно должны поначалу наломать дров, а потом уже одумываемся и начинаем чесать затылок. Все несчастье в том, что сегодня мало кто представляет себе, что такое коммунизм и социализм. Тиранический режим сделал свое дело. Наше поколение им отравлено вконец. Пример Акациева, ставшего идей-идейным холуем, наглядное тому доказательство. Поэтому можно будет начать сызнова только лет через пятнадцать, так в году семьдесят пятом, когда окончательно рассеются призраки, вырастет новое поколение и люди будут действительно думать о буду-

щем, а не о том, чтоб поддерживать схоластические догмы и опшпалнувшисся авторитеты. Что касается народа, то я впервые в нем замечаю подлинное единство. Все поголовно недовольны, — значит лучшее будущее не за горами. Народ примет меры к тому, чтобы выправить положение, потому что он-то хочет жить по-человечески. Ведь душшерубка и душегубка — это одно и то же.

Только объединенное человечество способно к разумной общественной жизни, то есть к коммунизму. А пока будут идти разговоры о национальном приоритете и суверенитете, будет продолжаться всеобщая свалка, и называй ее хоть тысячу раз социализмом, она не перестанет быть свалкой. Этого сегодня не понимают марксисты, но поймут — жизнь заставит.

— А мы?

— История не сентиментальна. Она ничего не чувствует и никому не сочувствует. Сегодня ничего изменить нельзя. Изменить все могут люди в свое время. Эти люди только еще растут. Ты — Иоанн Предтеча. А предтечам всегда отсекают голову в угоду Ироду и Иродиаде. Наше чудовищно бюрократическое государство отмирать не собирается, и сломать его будет гораздо труднее, чем буржуазное, зато потом быстро наступит коммунизм. Я понимаю, что тебе хочется убежать от него, как убегают дети от слишком заботливых родителей. Но бежать нельзя. Книжки, которые мы с тобой написали, хотя и не дойдут сразу до народа, но наши идеи просочатся, и они станут теми катализаторами, которые ускорят процесс истории. Новое всегда побеждает. И не надо отчаиваться, даже когда роженица умирает. Сознание того, что ты открыл для мира новую Атлантиду, более чем утешительно, если тебе даже наверняка не придется пожить на этой обетованной земле.

— Опять та же дурь. На черта мне нужна обетованная земля в будущем? Предположим, я умираю. Останутся мои близкие. Мою жену Евлалию ты знаешь. На днях она мне сказала: «— Какого лещего ты дурака валяешь? Какие-то дурацкие книжки пишешь, из-за которых семья сегодня-завтра по миру пойдет». — Я сказал ей, что считаю своим долгом позаботиться и о мире, иначе, пожалуй, ей и по миру ходить нельзя будет, подадут не хлеб, а камень... А она в ответ говорит: «— Плевать я хотела на твой мир. Хоть бы он провалился, только бы Олег уцелел. Пусть хоть миллиард сдохнет, и то еще сволочей хватит. На черта расплодилось столько нищих: кому нужна эта нищая братия?» — Ну вот, а сынок мой Олег и его ближайшие друзья... О, Господи... Еще комсомольцы... Но пойми, что из таких комсомольцев скорее вырастут

фашисты, чем коммунисты. А жадность какая? Домработница у нас Катя. Я ей учиться советую, даже помочь хотел. А она смеется, говорит: «— Меня ваш сынок на постели уже всему выучил. Хватит с меня науки. Вы бы мне лучше жениха денежного нашли». — Ну, что с нее возьмешь? Жена потихоньку дает сыну деньги на кутежи и прочие бесчинства. Вот тебе социалистическая семья. И так — всюду. Но я терплю. Только иногда страх охватывает, — а чего боюсь, сам не знаю...

Перекатный гул стоял над городом, врываясь в комнату, когда затихал разговор. Иван Иванович вслушивался в отдельные звуки — дробный перестук дождя на наружном подоконнике, гудки машин, какие-то выстрелы.

— Большое гонение готовится, — сказал Останкин.

— Меня гонять будут?

— Тебя... — кивнул головой Останкин. — Выгнать хотят из партии. Неудобный.

— А тебя?

— Я что ж — смиренный... А ты не присмирел, на рожон лезешь.

— И я тоже долго был смиренным, даже цитат подозрительных или неудобных не приводил.

— Дисциплина... — вздохнул Останкин.

— Ты хочешь сказать — палка?

— Дисциплина — это и есть палка. Если бы все добровольно делали и говорили то, что приказывают — тогда о дисциплине и речи не было бы. Партийная дисциплина это значит — не смей думать, как тебе хочется, безоговорочно одобряй и повторяй все, что происходит и говорится свыше. Если хочешь, политики дискредитировали себя больше, чем попы. Фарисейство и ханжество попов не только полностью привилось во всех партиях, но еще с опромной примесью средневековой нетерпимости, в то время как церковь стала очень терпимой и даже приспособливается к современной науке — возьми неотоцизм. А там, где господствует одна партия и все другие объявлены вне закона, — тирания неизбежна. Если не допускается политическая борьба, зачем тогда нужны политические партии? По-видимому, этого не хотят понять. То, что сейчас рекламируется у нас — блок партийных с беспартийными — это, собственно, означает, что между ними разницы нет. Да и в самом деле разницы никакой нет. Официальное определение гласит, что партия — это авангард народа. Но разве члены партии — самые передовые люди в стране? Лучшие ученые, инженеры, писатели, композиторы — беспартийные. Неужел-

ли Дубов и Осиноватый — авангард нашего народа? Хорош был бы народ с таким авангардом. Или твои родственники, которые, несмотря на партбилеты в кармане, крестят детей, да еще иконы держат в укромном месте. Обратил ты внимание, что в издательстве нашем беспартийные редактора намного строже, чем партийные? Ну вот... Так что жди нападения и готовься к защите. Я тебе помочь не смогу. Меня тоже третируют, жду, что вот-вот выведут из парткома.

— Видишь ли... чтобы быть коммунистом, а я им буду всегда, вовсе не обязательно быть членом партии. Но это — привычка. В нашей партии коммунистов меньше, чем полпроцента. Будет еще меньше.

— Возможно, что потребуют твою рукопись, так ты ее не давай... Скажи, что еще продолжаешь работать над ней.

— Не потребуют... — махнул рукой Иван Иванович. — Я сам предлагал им — говорят, что нет времени читать. Ведь прочтя, надо что-то сказать. А что могут сказать эти чиновники?

— У каждого свой бес, — раздумчиво сказал Останкин, — или, выражаясь поэтически, демон. Зачем нужно стремиться обдумывать людей, если они этого не хотят?

— Честь...

— Понятие более чем растяжимое. До жути. Если уж убийство невинных не бесчестит вождя, то что говорить о других. Но честь все-таки есть и будет, хотя она попорана сейчас.

— Все возможно...

— Да ведь демон мой настоящий, а не как у других — «маленький, гаденький, золотушный с насморком бесенок» — демон, не ищущий личного благополучия, особнячка, многотысячного оклада, а готовый на любые мьтарства.

— Ну, что ж — это вклад в будущее, а мы не получим ничего.

Помолчав немного, Иван Иванович сказал:

— Я становлюсь пифагорейцем.

— Становись чем угодно — в воображении, конечно. Но знай, ты только муха...

— Синяя, — вздрогнул Иван Иванович.

— Хотя бы красная... — невесело улыбнулся Останкин.

— Разве ты не замечаешь, что все начинается с начала?

— Ты насчет Апостолова?

— Разумеется... И знаешь, что меня страшит больше всего?

— Догадываюсь. Ты хочешь сказать, что привычка к узде так велика, что даже лучшие скакуны забыли, как их объезжали.

— Да... Но не только к узде, но и к кнуту.

— Что ж, русский человек любит себя посечь... Унтерофицерскую вдову забыл, что ли? Это, брат, наша неотъемлемая национальная черта. А государство для того и создано, чтобы пороть подданных. Душерубка! И чем совершеннее государство — тем большее оно сечет и рубит.

— Утешил ты меня.

— Прости, Иван... Да ведь ты не из тех, кои в утешении нуждаются.

Дома Ивана Ивановича встретила заплаканная жена.

Как обычно, она посмотрела на него ненавидящим взглядом, бывшим когда-то задумчиво-серым, а теперь ставшим тускло-рыбьим. Он никак не мог понять, почему они должны были стать не только чужими людьми, но еще и врагами, которые портят друг другу жизнь на каждом шагу. Ивана Ивановича не утешала мысль, что он готов был любить жену до конца своих дней не потому, что она была лучше других, но потому, что он был лучше, опычнее, старше и ему хотелось сохранить искренность, нежность и хотя бы дружбу. Но Евлалия и слышать об этом не хотела. Ей даже доставляло удовольствие унижать его. Она постоянно подчеркивала, что он старше ее, так что ему стыдно было за свои вспышки страсти, еще порой возникавшие, несмотря на вражду, росшую заметно с каждым годом. Почему она не другая? Ведь есть же другие, есть. Но мало ли что есть на свете?

Потом он стал думать об Апостолове, новом человеке, который начал затмевать горизонт своей большой тенью.

АПОСТОЛОВ

Илья Варсонофьевич Апостолов был уже далеко не молод и ничему на свете не удивлялся.

Человек тяжелого веса, весь круглый, без единой шишковатости или острого выступа, лопухий, с коротким мясистым носом, внушавшим доверие, легкий на подъем, — Илья Варсонофьевич никогда не сжигал того, чему поклонялся, не поклонялся тому, что сжигал, и вообще в душе ничему не поклонялся, ничего не жег, а хранил на всякий случай, никогда не кипятился, а шел по дороге вразвалку, не спеша, с добродушным видом, да так, чтоб никто не мог заподозрить, будто он хочет его обогнать или показать свою резвость, и с другой стороны, — чтоб не оставаться в

тени, чтоб его могли заметить и позвать в случае необходимости.

В юности он позаботился о своей биографии, успел поработать подручным у деревенского кузнеца, что ему позволило законно навести на себя синтетический крестьянско-рабочий лак. Читал он кое-какие книги, но, не в пример иным своим сверстникам, не вознесся там на какое-то седьмое небо, а, зорко разглядев незавидные судьбы ряда мечтателей, пришел к прозаическому, но весьма ценному выводу: поскольку в наше неверное время от великого до малого расстояние короче воробьиного носа, надо претендовать не на величие, а на прочность позиций, — например, быть первым в деревне, где можно прожить в свое удовольствие, гораздо лучше и надежнее, чем в городе, где слишком уж много конкурентов. И действительно, жил он припеваючи, все знали, что за паузой он никаких сокровищ не прячет, но и камня не держит, чтобы в подходящий момент швырнуть его в голову вышестоящему. Поэтому, когда мудрящие и претендующие начали скопом терять головы и надо было их заменить, ибо свято место пусто не бывает, Илья Варсонофьевич, замеченный кем-то из приближенных вершителя судеб, был избран кандидатом в члены ЦК.

На этот факт народ, конечно, не обратил ни малейшего внимания. Никто в точности не знал и десятой части членов ЦК, не то что кандидатов, но таков удел всех избранников народа. Илья же Варсонофьевич уже прекрасно знал, что народ, хотя во всех книгах написано, что он делает историю, решительно никакого влияния на судьбы не оказывает, выбирает всегда тех, кого велит выбирать начальство, и вообще думает о хлебе едином. И он понял, сей новый кандидат, что попал в ту обойму, бытующую в каждой стране, из которой, как некогда из династий, вербуются вожжди разных масштабов.

У Апостолова не было ни выдающихся способностей, ни образовательного ценза для того, чтобы претендовать на слишком уж большой масштаб, и в то время он еще не стремился к нему. Он кое-чему научился в жизни — солидно хранить молчание, не высказываться на серьезных дискуссиях, повторять и цитировать то, что преподано свыше, в меру льстить, не обижаться на пренебрежение со стороны вышестоящих, смиренно довольствоваться вотчиной краевого масштаба, — и таким образом пожинал скромные лавры, а о плодах и говорить нечего — чего-чего, а плодов хватало.

В бурные годы, когда обожествленная великая личность начала творить суд и расправу над теми, которых она подозревала в

молчаливом неповиновении, и устраняла недостаточно поклонявшихся, в душе, может быть, отрицающих ее божественность, — а подозревала она всех без исключения, — Апостолов сидел в своей вотчине тише воды, ниже травы, и даже обнаружил сверхмерную скромность, так что прослыл в глазах великого таким уж малым, что уж если такого не пощадить, то кого же пощадить? А ведь кого-то надо было оставить в живых, хотя бы для того, чтобы они поклонялись. В то время выдвинулись именно подобные тихони вместо смелых, ушедших в небытие. Все эти были люди районного масштаба, однако, благодаря безвременью волна их вынесла наверх.

Илья Варсонофьевич не высказывал никаких мыслей, имеющих хотя бы отдаленную самостоятельность, за всю жизнь — Боже упаси! — не написал ни одной статьи. Может быть поэтому он, после многочисленных разгромов всяческих антипартийных блоков, был сочтен одним из тех, которые никогда не нарушали чистоты марксизма-ленинизма, — ведь он и не прикасался к нему, — и занял таким образом руководящий пост на идеологическом фронте и даже начал выступать с речами, если не отличавшимися оригинальностью, то свидетельствующими о том, что он усвоил ходячую терминологию партийного лексикона и не собирается ничего пересматривать в основах, чего смертельно опасались бесчисленные чиновники всех рангов.

Время для всей этой шушеры было тревожное и чревато последствиями. Народ, который все же не удалось привести к одному знаменателю за четверть века небывалой в мире тирании, начал оживать. Прежде всего пошли, как всегда, анекдоты, доходившие, конечно, и до верхов, — знал о них и Апостолов. Потом начались выступления и на партийных собраниях. Ряд представителей творческой интеллигенции недвусмысленно заявили, что произошло перерождение социализма в бюрократизм, а в кулуарах, в поездах дальнего следования, на пляжах, за бутылкой пива — довольно открыто говорили, что и партия ничего общего с коммунизмом не имеет, а является хорошо знакомой ассоциацией чиновных функционеров, борющихся за власть. Так был, в частности, воспринят большинством, в том числе и Иваном Ивановичем, конфликт пятьдесят седьмого года, когда почти все старые лидеры вылетели из седла.

Тогда многие идеологические руководители растерялись. В партийных журналах появились статьи, подвергавшие критике все решительно, вплоть до истории партии, от священности которой не оставили камня на камне. Все колебалось. Авторитеты ру-

пились. Начались волнения среди молодежи. Забастовки на заводах. Партийные руководители получали целые охапки анонимок, в которых было немало упроз и похабщины. Были смуты и в учебных заведениях.

Тогда Илья Варсонофьевич осторожно, в первый раз в своей жизни, выдвинул лозунг:

— Обуздать демократию! Социалистическая демократия тоже имеет берега.

Его, сверх ожидания, подхватило все племя избранных, как спасательный клич, подняли на щит, завопили на весь мир о том, что необузданная демократия не имеет ничего общего с подлинным марксизмом, что они заставят замолчать тех, которые распоясались. Писателей и публицистов, выступавших с критическими произведениями, называли людьми, клеветущими на свою родину. Было объявлено, что никакого нового курса ни во внешней, ни во внутренней политике не будет. Пошли разговоры, что старый метод убеждения — тюремной решеткой — надо снова начать применять. О злодеяниях недавнего прошлого стали упорно забывать, словно их вовсе и не было. Снова начался звон на весь мир о достижениях. Спутники, летавшие в мировом пространстве, заслонили все повседневные нужды людей. Большинство населения продолжало жить в ужасных квартирных условиях, по-прежнему трудно было достать сахар, масло, белый хлеб. Даже в столице мира, Москве, трудно было купить полкилограмма сосисок. Ну, зачем сосиски и сахар, когда есть спутники? Холопы ожили. Литература сошла на нет. Читатели даже не требовали нигде, ни в магазинах, ни в библиотеках, советские книги. Всё усиливалась тяга холопов к сотворению нового кумира. Нет житья холопу, когда поблизости нет барина, чтобы поцеловать его в плечико. И поскольку Илья Варсонофьевич высказал столь спасительный лозунг, он представился самой подходящей фигурой для избранных.

Но беда: культ личности был еще в запрете. Неудобно перед Европой. И кто его знает, сколько еще продержится это табу на кумиров. Однако идеологи не унывали. В работах института, с легкой руки директора Дубова, в газетах, журналах, издательствах стали усиленно цитировать Апостолова, и его портреты ежедневно напоминали людям, что солнце всходит вновь.

Как это бывает со всеми людьми на свете, большими (не великими) и малыми, Илья Варсонофьевич начал думать, что это — глас народа. «Под голосом народа, как это свидетельствует история, всегда и везде подразумевались устные и печатные вы-

ступления, организованные агитаторами и газетчиками» (выдержка из книги Силнемухова «Социализм истинный и ложный»). Найдя, что всё это достойно внимания, и вдохновленный соратниками, Апостолов переборщил — сказал несколько фраз, обнаруживших его убожество, но — тем лучше!

Разумеется, Илья Варсонофьевич знал, что слава его дутая, эрудиция ничтожная, — кой-какие познания в выращивании картошки еще трудно назвать академической эрудицией, — он также знал, что народ недоволен, что жить вовсе стало не легче, что цены повышаются, — но стоит ли об этом думать? Ведь и Людовик... надцатый (какой точно, Апостолов не знал) тоже не очень-то надеялся на свою славу и народную любовь, зато произнес бессмертную фразу: «Для нас хвалит, а после меня — хоть потоп». Вероятно, ему тоже было известно, что народ не в таком уж восторге от его речей о выращивании картошки. Может быть и дошло до него, что народ больше волновался по поводу того, что единым росчерком пера отняты двести десять-десять миллиардов, данных в займы государству, и хотя их через сорок лет обещали вернуть, но никто на это не надеялся. Много говорили и о повышении цен на водку, указывая, что это даст не меньше, чем займы. Но займы надо возвращать, хотя бы формально. А тут уж без возврата.

Все это ему было известно... Но Илье Варсонофьевичу минуло шестьдесят четыре года. Что ж, — думал он, — если не помянут меня добрым словом, то и хулить особенно не станут. Ведь в сравнении с ним, — я просто гуманист, добрый дядя. В конце концов надо же кому-то держать в руках государство.

Он слишком много думал в предыдущие годы совсем о других вещах, когда не мог уснуть, не будучи уверенным, что утром не проснется в тюрьме. И не потому, что чувствовал за собой какую-нибудь провинность, — но чем он лучше других? И хотя никогда не промолвил ни единого слова в защиту товарищей, невинно осужденных (что ему было хорошо известно), но все-таки опасался, как бы его не заподозрили в сочувствии жертвам. Он хорошо знал, что ему надлежит говорить, но не знал, достаточно ли красноречиво он умалчивает. А теперь все равно — он не настолько наивен, чтоб заботиться о том, что будет после него. И его не особенно беспокоило, где он будет тлеть — в пантеоне или в более скромном месте. Надо сказать, что, несмотря на свой почтенный возраст, он любил выпивку, закуску и тому подобные развлечения.

При встречах с зарубежными делегациями случались, прав-

да, некоторые эпизоды, о которых Илья Варсонофьевич не любил вспоминать. Но ничего страшного и в этом нет, — кто о них осмелится громко говорить? Особенно запомнилась ему беседа с одним французским социалистом.

Когда Илья Варсонофьевич по раз навсегда принятому шаблону начал перечислять ему достижения, сказав, что наша промышленность увеличила свою продукцию за сорок лет в тридцать три раза, а Соединенные Штаты только в три, и что, мол, это доказывает правильность наших идей, француз деликатно заметил:

— У меня был товарищ в колледже. Когда мы начали самостоятельную жизнь, он, человек очень богатый, имел уже доход около миллиона франков в год, а я всего десять тысяч. С тех пор тоже прошло сорок лет. Валюта теперь, конечно, не та. Мой доход тоже увеличился в тридцать раз, а его тоже — только втрое... да, мсье, только втрое... Вот что значит статистика, мсье Апостолов. Про статистику я могу сказать словами одной русской поговорки, что она, как дышло, — куда повернул, туда и вышло. Очень замечательные русские поговорки... Потом еще, мсье Апостолов, мне не ясно, может, потом объясните, что общего с коммунизмом и мирной политикой имеют успехи в ракетной технике, которыми вы так гордитесь, и потом еще, в-третьих, хотелось узнать, почему ваши скромные успехи, — ведь и сегодня производительность труда у вас в три раза ниже, чем в Америке, — вы приписываете именно советскому режиму? Многие утверждают, что если бы не было советской власти, успехи русских были бы еще больше, так как ваш бюрократизм изрядно тормозит рост хозяйства, о чем не раз говорили ваши лидеры. Да и уровень жизни вашего народа несравненно ниже, чем в Соединенных Штатах, хотя у вас будто бы нет эксплуатации. Мы, например, социалисты, считаем, что эксплуатация человека государством несравненно больше, чем частным лицом, и притом бесчеловечнее, — не случайно миллионы людей у вас работали как каторжники, заключенные в лагерях... В-четвертых, у вас даже нет пени буржуазной свободы или демократии. Ваш парламент — это спектакль — три-четыре дня в году. Не случайно тоже, миллионы людей у вас погибли в застенках, чего еще в мире никогда не было. Гитлер только ваш слабый ученик... В-пятых, у вас есть целый класс новых капиталистов, которым во много раз лучше, чем капиталистам Запада. Они получают ежегодно огромные доходы, ничем не рискуя, не вкладывая никаких капиталов. Ваши министры получа-

ют большие оклады, чем американский президент, исчисляя курс доллара по курсу вашей фондовой биржи... В-шестых, вы самую идею социализма так дискредитировали, что даже мы, социалисты, теперь теряем власть над массами, они больше доверяют консерваторам, и в этом тоже ваша вина... Вот я хотел бы вас просить, мсье Апостолов, разъяснить мне все эти противоречия и недомыслия.

Илья Варсонофьевич начал возражать с жаром:

— Какой же у нас капитализм, если у нас нет капиталистов?..

Но тут француз его не совсем вежливо перебил:

— Вы знаете, мсье Апостолов, я не люблю слушать патефон, а на другом инструменте вы, по-видимому, не играете... Лучше уж пойду смотреть ваш чудесный балет, Галину Уланову. Это ваше достижение бессмертно, хотя я не знаю, что общего между Одеттой в исполнении Улановой, музыкой Чайковского и советским режимом.

Этот чёртов француз потом напечатал ряд фельетонов в газете «Фигаро». Можно себе представить, каковы были эти фельетоны. Но хуже всего то, что в них было много правды, о которой почему-то не приходилось читать Апостолову ни в докладах министров, ни в газетах, ни в советских романах. Откуда этот мерзавец узнал такие подробности? Потрясло Апостолова сообщение о ряде советских ученых, в том числе и о Туполеве. Француз писал: «Советские лидеры помогли своим ученым, в том числе прославленному создателю реактивных самолетов Туполеву, тем, что продержали его десять лет в тюрьме как вредителя. Что ж, каждый помогает по-своему. Таков социализм».

Но не таков был Илья Варсонофьевич, чтоб впадать в меланхолию. Он вообще не любил долгих размышлений, тем более, что всё складывалось для него как нельзя лучше. Он видел, что даже народ, проявивший некоторую строптивость, не склонен вести дискуссии о коммунизме, а больше интересуется хлебом насущным, жилплощадью и прочими благами. Поэтому он нацелил своих соратников по идеологическому фронту на пропаганду и обещания материальных благ. Больше молока, мяса, масла, болинок! Коммунизм как предмет мало пригодный для народного потребления был отложен в долгий ящик, в порядок дня были включены заменители, эрзацы — малометражные квартиры, утепленные свинарники и прочие фундаменты райского бытия.

Иван Иванович отлично понял стратегию и тактику Апостолова. Он как-то сказал Останкину:

— Ну вот и всё... Слава Богу, с коммунизмом покончено. И так быстро управились — меньше, чем за полвека. С христианством провозились семнадцать веков. Знаешь, Леонид, техника разрушения так усовершенствовалась, в том числе, конечно, и духовных ценностей, что между человеком и роботом вскоре не останется различия. Не исключено, что роботы вообще заменят людей как менее совершенных творений. И в будущем обществе нынешние люди будут считаться чем-то вроде питекантропов.

— Боже, он сходит с ума, — всплеснула руками Евлалия Петровна, и столовая ложка выпала у нее из рук. Разговор шел за обеденным столом.

— Папа, не обижайся, — сказал Олег, — у тебя, слава Богу, есть с чего сходить, чем не могут похвастать другие.

Иван Иванович не ответил и даже не взглянул на сына.

— Леонид Павлович, хотя бы вы на него повлияли, ведь он нас доведет до полного разорения, — медленно, гасцируя, говорила хозяйка, глядя на Останкина увлажненными глазами. — Если так пойдет дальше, мы останемся без куска хлеба. Его уже не печатают и печатать не будут того, что он пишет...

— Ну, не так страшно, — сказал Останкин.

Он знал, что все утешения напрасны. Кроме того, он не любил фальшивых речей, унижавших человеческое достоинство. В глубине души ему и не хотелось, чтобы Иван Иванович стал таким же бесхребетным и трусливым созданием, каким он был сам.

После обеда они перешли в кабинет.

Иван Иванович прочел ему новую главу из своей книги. Там были некоторые новые мысли, которых тот еще не знал. И хотя эти мысли страшили его, он им отдавался с какой-то обреченностью.

Некоторое время они молчали. Потом Останкин сказал:

— И после этого ты хочешь, чтобы тебя не отлучили от церкви, то бишь, исключили из партии.

— Я не прочь бы, — пусть отлучают, — но если бы отлучили как, например, Льва Толстого. По свидетельству его секретаря Булгакова в Ясную Поляну, уже после отлучения, приезжало до пятидесяти тысяч человек в год... А я на что могу рассчитывать?

ПОСЛЕДНЯЯ МУХА РАССЕЙНОЙ СТАИ

За это время произошли события, заставившие Ивана Ивановича глубоко призадуматься.

Все те, которые еще недавно проявили какую-то фронду, кая-

лись, публично бия себя в грудь. Казалось, что вовсе и не было секретного доклада на двадцатом съезде, что это был только сон, о котором даже рассказывать неудобно стало. Общество как будто дремало, собираясь совсем уснуть. В театры не ходили. Читали только Дюма. А, главное, пили водку, и это заменяло всё остальное.

К Ивану Ивановичу перестали ходить товарищи по институту, никто его не приглашал к себе. Он остался в совершенном одиночестве, стал даже заговариваться, вести длительные диалоги с самим собой и часто напевал неизвестно как пришедшую ему в голову трансформированную песенку:

Последняя муха рассеянной стаи,
Одна ты несешься, одна ты летаешь,
Одна ты наводишь унылую тень,
И ждешь, что настанет когда-нибудь день...

Иван Иванович часто теперь бродил по осенним пустынным улицам, ведя бесконечные воображаемые беседы.

Как-то он шел под вечер.

Тополиный лист падал густыми струями, ветер его подгонял, и вдоль бульвара текла желтая река, подернутая легкой рябью. Внезапно налетавшие сильные порывы ветра подымали стремительные волны, от которых ввысь отлетали отдельные листки, как желтые комья пены.

Истошно, пронзительно завывал крепчавший ветер, и казалось Ивану Ивановичу, что в этой песне слышатся хриплый лающий голос Апостолова, барабанная дробь Дубова, зловещее шипение Осиноватого и сердитая фистула жены, — всех изгоняющих его из жизни с глупой и жестокой настойчивостью.

За что?

Иван Иванович горько усмехнулся невольно заданному вопросу, который вероятно задал себе еще Адам, когда его изгнали из рая.

В последнее время он очень опасался увязнуть навсегда в той зловонной трясины, которая засосала многих его предшественников, — начать упиваться своими страданиями, почувствовать себя обиженным прекраснородушным человеком, которому, по чьему-то меткому выражению, мир должен полтора рубля и никак не отдает, идиотическим хлюпиком, которого извечная пара пнедых — начальство и семья — тащит на голгофу.

Нет, ни за что!

Качаются фонари, шуршат осенние листья, тоскливые, как мысли, как иские мухи, падают большие холодные капли на непокрытую голову.

Они, может быть, ждут, что он сдастся или покончит с собой. Пожалуй, и жена ждет, хотя и ей, и ее потомку не на что будет жить.

Но нет, — он им не доставит такого удовольствия. Ненависть опалает его сердце с отчаянной силой. На зло им он завершит свой труд, доведет начатое дело до конца.

Новая мысль — молния: Бежать!

Как Герцен, он станет швейцарским праздником, — это не помещает ему остаться русским, настоящим революционером, свободным мыслителем. Тогда он сделает больше и для России и для революции.

Но тут же он чувствует, что у него на это не хватит мужества. Страшная это вещь — любовь к родине. Вот так же, как любовь к женщине — она тебя каждый день гонит, издевается над тобой, а уйти от нее нет сил.

Он старается убедить себя, что родина стала не матерью, а злой мачехой, — но не в силах.

Проходят мимо, тесно прижавшись, девушка и парень, жарко что-то шепчут, блестят глаза, доносятся отдельные слова, обыкновенные слова, слышанные тысячу раз, но при мысли о том, что он не будет слышать этих простых и самых любимых на свете русских слов, его охватывает ужас.

Значит, обречен?

Да. Обречен.

Ну что ж, пусть так. Но не пропадет его любовь, его мысль, его труд. Пусть через годы, десятилетия, но мир примет его дар. Всё проходит и изменяется к лучшему. Снова будет весна, зеленые клейкие листочки, лунное колдовство, соловьиные трели, и, может быть, кудрявый юноша замрет над его книгой, и мысли, родившиеся в его голове, вдохновят его на подвиги, которых не сумел совершить он — последняя муха рассеянной стаи.

СВОИ ЛЮДИ — СОЧТЕМЯ

Уже по одному торжественному виду Дубова, Акациева и Осинюватого Иван Иванович понял, что приход их не является обычным. Давно он уже с ними не виделся.

На прошлой неделе их вместе с другими деятелями культуры

принимал Апостолов. Разумеется, в списке приглашенных Ивана Ивановича не было. Однако его не забыли. Апостолов сказал о нем несколько слов, когда упоминал о людях, уклонившихся от партийного курса и не желавших, по его выражению, идти в ногу с партией, с народом. Но тут же милостиво заметил:

— Конечно, если эти люди проявят добрую волю, мы им поможем.

С этой целью они и пришли — в последний раз — попытаться оказать «помощь».

Осведомившись о состоянии здоровья хозяина, гости прямо перешли к делу. Начал Осиноватый.

— Видишь, какое дело, Иван Иванович... На будущей неделе состоится митинг интеллигенции, на котором видные деятели науки, литературы, искусства выскажутся по актуальным вопросам современности. Для тебя, конечно, не секрет, что твоя деятельность за последнее время вызывает у всех нас серьезные опасения. Ты создал какую-то сомнительную философию, об этом идут разные толки... И вот мы считаем необходимым, чтобы ты публично высказался на этом митинге.

— Для того, чтобы ваши клакеры меня освидали? — глядя прямо в глаза Осиноватому, спросил Иван Иванович.

— Вы слишком неосторожны, — покачал головой Дубов. — Партийная интеллигенция, люди, на которых опирается партия, по-вашему, — не авангард народа, а клакеры?

— Мне думается, — нарастая заговорил Акациев, — что Иван Иванович впал в то печальное состояние, я сказал бы, лихорадочное, которое мне не раз приходилось наблюдать в памятные годы, когда я находился в концлагере. Я и сам, — правда, очень непродолжительное время, — был в таком печальном положении. Знаете, эти грязные нары, чистка отхожих мест, общение с уголовной шпаной... Но потом, когда видишь, что кругом сотни таких же, как ты, честных коммунистов, занимавших видные посты, начинаешь думать, что всё это — лишь обидное недоразумение, из-за которого не следует пенять на нашу великую партию, на нашу счастливую советскую жизнь. Мне жалко было славных ребят из лагерной охраны, которые думали, что мы какие-то преступники. И все эти восемнадцать долгих лет мы жили всё же по-партийному, у нас была по сути дела настоящая партийная организация, мы поддерживали бодрость друг в друге, старались не отстать от жизни, изучали произведения классиков марксизма, и, как видите, я вернулся бодрым и чувствую себя счастливым...

— Одним словом, — невежливо перебил его Иван Ивано-

вич, — вы хотите сказать, что лучшие годы вашей жизни, проведенные на каторге, это и есть та счастливая жизнь, которой вы восхищаетесь.

— Жертвы! — всплеснул руками Акациев. — Без жертв великие дела не делаются. Вы забываете, в каком мы были окружении.

— Таким же, как сейчас.

— О нет... Страны народной демократии...

— Это не меняет положения...

— Очень даже меняет... Наше великое дело приближается к успешному завершению. Мы построили социализм.

— Тюремный! — выпалил Иван Иванович. Ему очень хотелось сдержаться, но не удалось.

— Как!? — рывкнул Дубов.

Осиноватый вскочил, подбежал вплотную к Ивану Ивановичу, губы у него дрожали, колени тряслись:

— Одумайся, Иван Иванович! Что с тобой? Ну да, ты ведь болен, совершенно болен...

— Нет, я здоров, — уже спокойно ответил Иван Иванович.

— Значит, вы не коммунист, — сказал Дубов.

— Коммунист, но не такой, как вы. И коммунистического в вас ничего нет. Так же, как его вообще у нас нет. Я хочу спасти хотя бы идею, пока еще не поздно. А, может быть, уже поздно.

— Это контрреволюция! — воскликнул Акациев.

— Вы и не знаете, что такое революция. По-вашему, это просто насильственный захват власти. Но это чепуха — захватить власть и делать то же самое, что прежние властелины, и даже хуже. Вы не понимаете даже простых вещей, которые понял такой довольно ограниченный писатель, как Эптон Синклер. Больше сорока лет назад он сказал: — Нет для социалистического движения опасности больше, чем опасность сделаться установленным учреждением... К этому я могу только прибавить: учреждением неприлично старым, более бюрократическим и тираническим, чем восточная деспотия...

Иван Иванович задохнулся и умолк.

— Что же, все ясно... — сказал Дубов.

— Еще Ницше верно сказал, — усмехнулся Иван Иванович, — что образ человека можно скомбинировать из трех анекдотов. Комбинируйте на здоровье.

— Вы больны, Иван Иванович, — трясся над ним Осиноватый.

— Может быть, — махнул рукой Иван Иванович, — всё может быть.

Я И СЕЙЧАС НИЧЕГО НЕ МОГУ

Парторганизация института постановила единогласно исключить Ивана Ивановича Синебрюхова из партии. Однако райком не согласился с этим решением. Секретарь райкома еще до заседания бюро долго беседовал с Иваном Ивановичем, ознакомился с его книгой. Он понял трагедию Иоанна Синемухова и старался ему разъяснить гибельность его поведения.

— Иван Иванович, разрешите мне, прежде всего, задать вам вопрос: как вы мыслите свою жизнь вне партии?

— Я живу для человечества, и если меня исключат из партии, я не перестану быть коммунистом.

— Но ведь вы тогда ничего не сможете сделать?

— Я и сейчас ничего не могу, хотя вижу, что партия совершает грубейшие ошибки, граничащие с злодеяниями.

— Вот об этом я и хочу с вами поспорить. Конечно, аппарат наш поражен страшной болезнью бюрократизма. Но болезнь эту партия преодолет, потому что диагноз поставлен и ведется борьба. Новый метод управления народным хозяйством уже дает себя знать. Предстоят еще реформы. Беда ваша в том, что вы слишком нетерпеливы. Без терпения ничего достигнуть нельзя.

— А с терпением — еще меньше.

— Нет... Придут новые люди, более склонные к крутым поворотам, и всё пойдет по-другому. Сейчас надо обеспечить народ хлебом и кровом. Бряд ли будет полезно, как вы этого хотите, заявить, что у нас нет социализма. Что это даст? Только враги будут злорадствовать.

— Враги всё равно злорадствуют. Нельзя обманывать народ. Сегодня уже народ не верит партии. А если будет сказано правдивое слово, резко осуждены ошибки, проведены кардинальные реформы, то есть увольнение миллионов бездельников, объединение всех наших организаций в одну, свобода печати, — тогда народ, быть может, поверит в наше дело. А мне говорили сотни простых людей, что сейчас хуже, чем при царе. И это говорили не интеллигенты, а простые люди, еле сводящие концы с концами.

Секретарь даже побледнел.

— Не может быть.

— Воля ваша.

— Советую вам, однако, еще раз всё это продумать. Все изменится. Вы больны нетерпением. Отдохните, поделитесь.

Ивану Ивановичу был объявлен строгий выговор с предупреждением.

Но от этого ничего не изменилось. Разумеется, его по-прежнему не печатали. Из института его уволили. Как жить дальше?

В это время он лязжело заболел.

Врачи не могли поставить точного диагноза. Симптом был только один — непрерывная тяжесть в голове. Ему казалось, что в голову его проникло какое-то живое существо и нажимает изнутри на черепные кости. Он почти совсем не спал по ночам. Появились галлюцинации. Он часто видел себя молодым, веселым, беседовал сам с собой, не замечая этого. Жена смотрела на него враждебно, безмолвно, но красноречиво обвиняла в притворстве. Постоянные упреки ее в том, что он довел семью до нищеты, сводили его с ума. Иван Иванович смотрел на нее и не мог понять, почему после двадцати лет совместной жизни, когда она получала всё, что ей хотелось, и даже собаку кормила колбасой и семгой, ежегодно проводила несколько месяцев на курортах, она не только не чувствует к нему ни малейшей благодарности, а наоборот еще ненавидит его и часто оплакивает свою загубленную жизнь.

Но как ужасно сознавать всё это! Существует ли тогда на свете что-нибудь прочное, для чего стоит пожертвовать хотя бы одним часом своей жизни?

Ивану Ивановичу становилось всё хуже, и он почти не в состоянии был работать.

Дубов с явным раздражением говорил Осиноватому:

— Мне надоело возиться с этим Синебрюховым. У меня есть проект. Что он человек конченный — ясно для всех. Подумать только, сам поварилец Апостолов выразил желание ему помочь, а он ни гу-гу. Неслыханная наглость. Он хочет себя противопоставить всей партии, но мы его огорошим. Вот мой проект: замолчать его. Кто он такой? Популярности у него ни на грош. За рубежом его, слава Богу, не знают, так что с этой стороны всё в порядке. Я уже говорил с Архангеловым. Он доложит Илье Варсонофьевичу,

что Синебрюхов выбыл из строя, а сочинение его ничего особенно из себя не представляет — просто бездарная мазня с претензией на оригинальность. Перестанем его замечать. И всё. С голоду не помрет. Он теперь болен, будет получать страховые, потом пенсию.

— Но, видите ли, он всем дает читать свое сочинение. Служки пошли. Наши студенты волнуются. Может случиться обструкция. Лично против вас.

— Бросьте, я — стреляный воробей.

— Но студенты — это не шутка, об этом могут написать в американских газетах.

— Нет, уж мне позвольте. Студенты не осмелятся. А иначе — вон из института. На Енисей... А что касается американских газет, то мало ли что в них пишут про нас... Посмотрите.

И все начали забывать Ивана Ивановича.

Остались у него, всё же, два человека — Останкин и свояченица Зина. С Зиной он подружился незаметно. Удивительно, до чего могут быть непохожи родные сестры. Или Зину сделала полной противоположностью Евлалии несчастная жизнь, обилие неблагоприятий, на редкость неустроенная судьба? Она без слов поняла трагедию Ивана Ивановича. Но избегала его. Может быть, опасалась, что случится что-нибудь непоправимое, еще ужаснее того, что с ней было. Евлалия была гораздо красивее Зины, но бывали минуты, когда Зина так хорошела, будто сбрасывала сразу тяжелые годы, несчастья, и у нее вдруг появлялись крылья, и все лицо преобразалось, — и тогда зеркало говорило, что все могло быть иначе.

Но Зина уехала в Тамбов, к своему постылому мужу, — хотя и обещала вернуться.

Останкин стал даже раздражать Ивана Ивановича. Он весь был как бы воплощением бессилия, тупика, безнадежности. Казалось Ивану Ивановичу, что живет он как обреченный, уже свыкшийся с мыслью о близком и бесславном конце. Но сам он не мог с такой мыслью примириться, хотя здоровье его становилось всё хуже.

Теперь он почти все дни и ночи перебирал и ворошил минувшие дни свои, как сугроб осенних листьев, ища в них что-то главное, забытое, ключ к разгадке тайны несчастья, схватившего его за горло и прозившего задуть.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ВОСПОМИНАНИЯ — МОТЫЛЬКИ

*Души знатоков, благодаря
долгому трению и тесному со-
прикосновению с предметами
своих занятий, имеют счастье
стать под конец совершенны-
ми — картинными — мотыль-
ковыми — скрипичными.*

Стерн

Иоанн Синемухов сначала отмахивался от налетевших роем воспоминаний, как от назойливых осенних мух.

Но потом, зная, что ни убить их, ни рассеять он уже не сможет, ввиду краткости отпущенного ему времени, начал рассеянно перебирать их, постепенно приручать и достиг в этом искусстве известного совершенства. Раньше ему казалось, что такие дикие и необузданные творения, как мухи, комары, страсти, воспоминания не поддаются укрощению и поэтому считал их более опасными и лютыми, чем тигров и пантер.

Секрет заключался в том, что перед лицом неизбежной, точно датированной смерти, которая стоит перед глазами так же отчетливо, как справка из зала, самые страшные воспоминания и совершенно голая правда, прекрасная или уродливая, уже не потрясают душу поздними сожалениями, крушением надежд, стыдом за свою никчемность, бессилие изменить что-либо в этом мире, — не знаю, худшем или лучшем из миров.

Пожалуй, это единственная позиция — на смертном ложе — когда человек не боится правды, не юлит перед ней, не приукрашивает, не хитрит с ней, не приспособляется к прекрасной или подлой действительности, не старается умилоствовать ее, не бежит трусливо в кусты, не борется, — потому что приобретает в этот час небывалую дальнозоркость, понимает, что все честные, бесчестные, героические, трусливые шати, называемые в совокупности жизнью, в одинаковой степени ничтожны, напрасны и безумны. Но что пользы в познании напрасного?

Но все ночи и дни наплывают на нас
Перед смертью в торжественный час,
И тогда в тесноте, в духоте

Слишком больно мечтать о былой красоте
И не мочь.
Хотеть встать — и ночь...

Перед этой вечной ночью в последний час заката всё выглядит необычайно ярко, и в этом свете Иван Иванович увидел, прежде всего, русого Ванютку в уездном городишке Чистоплюеве, в уютном домике хранителя дровяного склада на приречной Скоттопригонной улице, близ реки Тухлянки, заросшей осокой и айром.

Не случайно он пришел снова на берег этой незавидной, но прекрасной речки, с таким обидно неподходящим названием. Но разве люди называют вещи, события и поступки своими именами? Может, это и было в незапамятные времена, но уже давным-давно прохожие по земле всё называют так, как заблагорассудится правителям, историкам, и нынче ничто уже своего имени не имеет, а переименовано по многовековому произволу хозяев.

Старики обычно говорят — доброе старое время...

Другие говорят — недоброе старое время, стараясь всячески очернить всё, что было до них — разумеется, для того, чтоб их собственное неприглядное время казалось не таким черным.

Но в свои предсмертные ясные дни Иван Иванович, увидевший сразу множество времен и пространств истории, чужих жизней и свою, сразу отметил, что времена эти почти ничем не отличаются. Всё та же безумная и бесцельная толчея, суета сует, ярмарка тщеславия, драки пьяных и трезвых, одинокие затерявшиеся голоса добрых гениев, вопиющих в пустыне. И по-настоящему хорошим было только детство. Детство человека и детство человечества. Потом и отдельные люди и народы мучились — богатые от богатства своего, нищие — от нищеты, умные — от ума, убогие — от убожества, и те, которые мечтали освободить мир от всех пороков и злодеяний, сами становились величайшими злодеями во имя свободы, еще более жестокими, чем тираны древности.

Но как прекрасно детство...

Иван Иванович вспоминал дровяной склад, как потерянный рай. Вот он бежит по огромным поленицам любимых своих березовых дров. Такие они веселые, белые, пахучие, живые — кора у них шелковистая, улыбочивая, порой еще янтарная слеза глядит на Ваню; сколупнет он ее ноготком, пожует... А какие они длинные — эти поленицы. Ваня воображает, что это целая железная дорога, когда бежит сверху, как по шпалам. Между высокими по-

ленницами — туннели, пещеры, катакомбы. Их можно заселить при желании страшными троглодитами или кроткими первыми христианами времен апостольских, и даже рыбу начертить. Одно время Ваня сильно колебался, размышляя над тем, кем ему быть — добрым христианином, как требовали родители, или добрым разбойником, как Арсен из Марабды. Он долго колебался, потому что его соблазнял синий камзол и шелковая канареечная рубашка бородатого кучера Тихона, везшего хозяина дровяных складов и лесопильного завода Луку Лукича Семисчастливого, того самого, о котором мама говорила, что он на седьмое небо попал и там семь счастливых достал, а у них хоть и одно, маленькое, зато удаленное, потому что они добрые христиане, не в пример прочим хапугам и сквалыгам, непьющие, не гулящие, детей держат в строгости и добронравии, ни на кого злого сердца не имеют, и обращено оно к Вседержителю.

«Как же он держит всех?» — думал Ваня. Тихон, такой здоровенный, и то еле удерживал двух рысаков, а как же можно удерживать всех жителей города, да еще и жителей других мест, которые, может быть, и не меньше, чем Чистоплюев?

Никак не укладывались в сознании Вани образы Бога и добрых христиан. Да и другие тоже плохо укладывались. И с этим плохо уложенным багажом он отправился в дальнейшее путешествие — жизнь. Потому, вероятно, так и получилось неудачно — багаж рассыпался, и он остался яко наг, яко благ.

Вот этот хозяин Семисчастный — мать о нем говорила, что он семидесяти счастлив, а студенты шумели, что он несчастный хапуга, отец говорил про него, что он надежный хозяин, у такого и работать приятно, а у этого Семисчастливого единственный сын двадцати шести лет застрелился, жена сошла с ума от горя, и он всё рбздал бедным и ушел в монастырь замаливать грехи. Кто же он?

Чем дальше, тем всё менее понимал Ваня: что же происходит на белом свете?

Любил он землю сильно и страстно, даже пустыри за кирпичными заводами, где высились чертополох и колючие репейники — всё любил. И не мог понять, почему за границей земля чужая, не его родина, и он ее любить не должен, а даже должен убивать тамошних людей. Потом он все это кое-как запихнул в душу, как-то оно умялось, улеглось, и он начал писать о разумной дисциплине. Так и представлял себе, что чем плотнее человек всё уложит, умнет в себе, не перетряхивая, не перебирая, тем легче ему будет жить на свете и делать то, что он делает, не задумываясь над са-

мым простым, но и самым главным вопросом — нужно ли то, что он делает, ему и другим?

Уже в детские годы ему пришлось слышать, что та жизнь, которую он видел в Чистоплюеве, — плоха, нужна другая. И он повторял вслед за студентами, приезжавшими на каникулы — да, нужна другая. О ней он узнал и в некоторых книгах. Студенты говорили, что вот придет революция, и жизнь станет прекрасной. Как именно будет выглядеть это прекрасное, никто не говорил, и Ваня бездумно поверил в мечту. Но вот пришла революция, и прошла революция, и ничего прекрасного нет. А будет ли оно? Вера — это вера. Если можно верить в грядущий рай, почему нельзя верить в грядущий ад, тем более, что в ад легче верить, он ближе к действительности, понятнее...

Самое страшное для Ивана Ивановича было то, что всё старьё, которое он мечтал уничтожить, ожило с необыкновенной силой, а все хорошее, что было прежде, развеялось, как дым. Будто и жизнь спала ненастоящей. Пусть это частный случай, и всё, что говорят окружающие — тоже частные случаи, но ведь он больше ничего не знал. Как же верить? Его товарищи пишут явную неправду. Вряд ли они думают так, как пишут.

И вот вспоминает он тихую чистоплюевскую жизнь, и слезы у него текут из глаз... Очень уж упрощенными стали новые спасители человечества — о них, пожалуй, не Евангелие, а сборник анекдотов напишут.

Но, признаться, я чувствую больше прелести к профессии евангелиста, которая мне кажется всё же поэтичнее, чем участь корифеев реализма. Не так уж весело рассказывать страшные истории, лучше красивые вымыслы, особенно если им верят в течение многих веков далеко не худшие представители человеческого рода.

После столь галантно сочиненного Христа, в мире появились спасители, уже не придуманные евангелистами. Они провозглашали торжественные манифесты, в которых постоянно фигурировали одни и те же лозунги, поначалу действовавшие на нервы, как лигавры, а впоследствии, как погремешки, — к счастью младенческие забавы не подвергаются критике.

Но все эти забавы детей и взрослых всегда были более или менее одинаковы. Кодекс хороших манер, принятых, видно, раз навсегда. Иван Иванович, вспомнив всё это, даже застонал от стыда, боли и отвращения к самому себе, и в голове его пронеслось:

«Как низко могут падать даже самые возвышенные люди! В каждом гении где-то на задворках мозга притаился кретин.

Самая страшная ошибка в том, что мир хотят переделать насильно. Но из этого никогда ничего не выйдет. Когда никто не будет властвовать над человеком, ни боги, ни полубоги, уйдут из мира страх и фальшь, и человек возродится».

Иван Иванович увидел себя с необычайной яркостью таким, каким он был до обработки партийными клещами, и каким сейчас снова стал в свой предсмертный час — высоким, стройным, кудрявым, с голубыми, никогда ни перед кем не опускавшимися глазами.

Он решил написать свою исповедь. Эта работа, по крайней мере, облегчит его предсмертный час, который может и затянуться, — врачи так человеколюбивы, что готовы продлить муки больного до бесконечности. Таков гуманизм в нашем мире.

Иван Иванович с большим рвением принялся за работу. Она не только не ухудшила его состояния, как предсказывали врачи, но он даже посвежел, стал себя бодрее чувствовать, и жена с тревогой подумала, что он может поправиться, когда она всё обдумала и решила. Ей так хотелось пожить в свое удовольствие!

Впрочем, Иоанн Синемухов не осуждал ее.

Приготовляя к изданию дневник Синемухова, автор этой повести, разумеется, не сделал никаких поправок. При этом он подумал, что мертвецы счастливее живых. То, что они сделали, не уродуют специально для этого нанятые люди... Да — всё проходит и изменяется к лучшему.

СЖИГАЮ И ПОКЛОНЯЮСЬ

*Склони голову свою, гордый
Сигабр! Поклонись тому, что
сжигал, сожги то, чему поклонялся.*

Иезекиил

«...Если вы думаете, что в этой книге найдутся доводы в пользу каких бы то ни было идей, или показ событий с преднамеренно выбранной точки зрения, одобрение одних и осуждение других, — отложите ее в сторону.

Автор не считает возможным заниматься всем этим. Судей он ненавидит, такую постыдную роль на себя не возьмет. Судить

современников можно через тысячу лет, да и то не с абсолютными шансами на справедливость.

Всё на свете можно доказать, показать, изобразить с любой точки зрения; поэтому так много фальшивых учений, романов, законов.

Механика здесь так проста, что даже не требуется ловкости жонглера или жулика. Она неоспорима в своих манипуляциях и выводах, если этим занимаются официальные инстанции и лица. И все эти учения, романы и законы не могут быть большей частью опровергнуты, ибо этому препятствуют мощные организации, применяющие самые сильные средства борьбы — костры, виселицы, пиллотины, пистолеты.

Всё это дает обильный материал для социальной демагогии — все орут: «свобода, равенство, братство!» — а дают упомянутые выше успокоительные средства.

— Так надо же всё это разоблачить! — наступает на меня совесть, и я еле отражаю ее яростную атаку.

Но тут меня омрачает воспоминание о том, что всё это уже было.

Всё на свете было. И всё это навечно запечатали книги. Зачем же поднимать шум из-за пустяков?

Послушайте:

— Если весь мир, собственно, ничто, к чему же делать столько шума, особенно если истина является чем-то случайным? Разве только сейчас открыто, что вчерашняя истина завтра безумие? К чему же тратить годы юности на раскрытие нового безумия? Единственно несомненный факт — это смерть, потому мы и живем! Но для кого, для чего?

— Для жизни, — отвечаю я почтенному Августу Стриндбергу. Никакие противоречия не сбивают меня с толку. Наоборот, — меня способна сбить с толку какая-то последовательность, почти равносильная глупости — так она напрашивается на похвалу за редкую оригинальность. Может быть, я настолько простодушен в своих признаниях, что иные властелины обидятся на такую прямолинейность. Но льщу себя надеждой, что никто из них не примет моих слов на свой счет. А мне нельзя сфальшивить. Мир мне не простит даже малейшего малодушия. Тем более, что я умираю.

Между прочим, я уже давно ощущаю, что между моим телом и душой установились совершенно новые взаимоотношения. Словно тело мое сгорает в пламени высоких мыслей, как пирамидальный тополь, роняя желания, как скрученные листья. А мысль живет, как целый каскад бурных потоков. У меня даже ничего не

осталось от самолюбия и самолюбования — этих моторов человеческой души.

Я стараюсь избегать общения с людьми, потому что все выделяют свои флюиды разнообразных видов лжи и фальши. И так как душевное сродство так же действенно, как химическое, то я предпочитаю не подвергаться такой порче в последние часы жизни. Я замечаю также, что произношу слово «человечество» без приподнятости и восторга, а раньше произносил его как тост, — но теперь оно выдохлось так же, как я.

Конечно, я могу порой впасть в меланхолическую сентиментальность, но ведь это сразу бросится в глаза — если человек не хочет лгать, он не солжет.

В хрустальной вазе букет махровых гвоздик пылает, как созвездие Плеяд. Они высоко сияют в зеленом полумраке, как далекие солнца, и мне кажется, что моя постель удалена от них на миллионы миль. Но как яркое звездное сияние, и как далеко вижу я, освещенный плеядами. Мир был прекрасен, и так жалко было уходить из него. Я вообще не выношу разлуку, она мне разрывает сердце даже когда я расстаюсь с местами и людьми, не принеся мне ничего, кроме горя.

Но особенно не хотелось пережить последнюю разлуку.

Испугал меня мой друг.

Впрочем, когда я сослался на его слова, он сильно обиделся на меня. Я ему, кажется, повредил, потому что он, гневно сверкая глазами, сказал:

— Только дурак может думать, что правду разрешается говорить публично. Но теперь я вижу, что ее нельзя говорить по секрету лучшему другу.

Так я расстался с другом. И это меня испугало навсегда.

...и вот, когда я что-либо полюблю, то безумно и навсегда.

И я не мог разлюбить друга, хотя он меня сильно обидел.

Помню, я расстался с какой-то девушкой, — это была случайная встреча. Несмотря на свою доброту, я не мог ее продлить. Мы просто ходили с ней гулять в горные леса и там наслаждались по мере сил. Я вспомнил тот вечер, когда она, наконец, уехала, примерно так:

Ветер был резок и порывист. Внезапный яркий проблеск солнца из-за черных туч озарил меня. Восьмиствольная сосна качалась, скрипела и стонала, все стволы ее столкнулись головами и сплелись в клубок. Мы сбежали вниз. Сорвали с себя одежды. Я бросился в пучину. И она тоже. Розовое видение не давало мне

выплыть. Я был потрясен и вынес из морских глубин воспоминание о невозможном, сохранившемся навсегда.

Так я вспоминаю, стараясь при этом забыть, что меня поцарапали какие-то водоросли, саднило кожу на ногах, я чуть не утонул, захлебнувшись от неожиданной вспышки страсти, от которой я порой терял сознание. Но природу я никогда не разлюбил, говорил с ней на одном языке, никогда ее не обманывал, так же, как она меня, и даже в полной темноте я мог узнать по голосам, кто ко мне приближается — по строгому гудению жесткой хвои, лирическому бормоганию криптомерий, шумному хороводу берез, трепещущему переплясу осиновой листвы, громкому старческому шороху — шопоту дубрав.

Судьба мне улыбалась неоднократно, но улыбка ее всегда была такой печальной и скоропреходящей.

Кто объяснит — почему?

Я так люблю мир, всю землю — ведь не толчу же я ее, как глобтроптеры с туманных островов, я не бизнесмен, не совершал с моей землей никаких выгодных сделок, беру меньше, чем даю, прохожу по ней легко, почти не прикасаясь к ней ногами, ласкаю любовным взглядом, руками тружусь для ее прославления и лишь вдыхаю ароматы магнолий, цветущих маслин, морских волн и горных лесов.

Но внимая моим восторгам, Красота, обитавшая всюду в первых лесах, озерах и океанах, принимала меня с пренебрежительной вежливостью, как нового гостя, когда за столом и так уже тесно. И так вообще принимала меня жизнь даже в самые торжественные приемные дни — от свидания с возлюбленной в душе всегда оставалась, рядом с усладой, горькая сладость мученика, и, наслаждаясь ароматом роз, я никогда не переставал чувствовать боль от шипов и терний.

Я думаю, что настоящая серьезная жизнь начинается с того дня, когда человек впервые ощутит себя отделенным от всех остальных, не учеником такого-то класса, ни в чем не сомневающимся, остриженным под одну гребенку, не школьным пионером, хранящим в запасе ответы учителей, а пионером жизни, — потому что каждый человек открывает мир впервые, как Америку — Христофор Колумб.

Что же является первым толчком к этому обособлению, когда очередной бог начинает в миллиардный раз творить свой новый мир? Есть только один первоначальный толчок творения — первая любовь.

Вы, конечно, помните, как это начинается — да и можно ли

это забыть? Вы были так плотно слиты с массой, что некогда даже неясно различали свой пол — мальчишки и девчонки неотделимы, — и вдруг сердце падает в бездну, вы отделены этой бездной от вчерашней подруги, которую дергали за косы, вы задыхаетесь от неизвестной причины, вы всё перестаете понимать; страшная, жгучая тайна вызывает смятение, вихрь чувств, они как заговорщицы, заманивают вас в ловушку, вы бьетесь в капкане, но мир гложет, не слышит ваших стенаний, никто не приходит на помощь. Это бурлит безумная любовь, чувство переходит в страсть, как превращается в пар кипящая вода, но, перевалив через точку кипения, начинает испаряться, и любовь незаметно переходит в остывающий лед, потому что вы всё-таки обманули друг друга, но вам всё равно, вы ведь и сами себя обманули, всё шло по закону, вода закипела, испарилась, остыла, и надо ее снова кипятить; и вы даже незаметно начинаете разжигать новый костер, подбрасываете хворост, вот уж пламя взвивается к небу — крутится, вертится шар голубой.

Но догорают костры, вы остаетесь одни, наедине со своими муками и сомнениями. А муки любви заставляют усомниться во всем, даже в смысле жизни. Если все проходит как мираж, то зачем оно нужно? Тут вы замечаете, что как мираж проходит не только любовь, но и все остальное — вера, идеалы, мечты; всё отцветает, падает — растет недоумение, и вот уж чувствуете то, в чем так бесстрашно признался северный бард: вокруг меня воцаряется одиночество, молчание, возвышенно ужасающее, молчание пустыни, в которой я с горделивым упрямством сталкиваюсь с неведомым, тело к телу, душа в душу.

Меня всегда терзал вопрос в каждой моей любовной драме: какая часть моего существа любит — тело или душа? Тут нет никакой мистики. Я не раз чувствовал вражду, ненависть к женщине, без которой я жить не мог; всё в ней меня возмущало и возбуждало до ярости, до безумия. И чем больше я наращивал в душе ненависть к ее порокам, тем больше любил ее и даже самые пороки, возмущавшие меня. Это дьявольская амальгама, и ведь никто не может сказать, как она получается.

И первая моя любовь, которая, может быть, решает судьбу, была девушка с тяжелыми формами пожившей женщины. Душа у нее была путаная, ненасытная, и она мне сама призналась, что душа у нее находится не в том месте, где у всех людей, а где-то ниже, в каком-то адском чреве. У нее была своеобразная теория любви. «Это вовсе не взаимодействие родственных душ, о чем тол-

куют поэты, — говорила она, — а просто удачный половой подбор, а душа, сердце, вдохновение — придуманные побрякушки».

Она выражалась всегда грубовато, сводила с ума своей звериной чувственностью, и я, восемнадцатилетний, не раз плакал от любви и ненависти, лаская это истасканное обрюзгшее тело.

Я часто забегаю вперед или в панике отступаю далеко назад, страшась того рубежа, на котором очутился вопреки своей воле. Так и здесь я уже дошел до мук, еще не поведая, как я любил и наслаждался. Это может создать неверное представление обо мне. Так в неверном свете луны меняется облик мира.

Чуть ли не с младенчества я был коммунистом, то есть хотел, чтобы всем было хорошо, чтобы все люди любили друг друга и меня, а сердце мое всегда было раскрыто каждому. Помню, когда все проклинали дядю Петю за то, что он пьянчуга, кричали, что он такой-сякой, я расплакался, — до того мне жалко было его, — пьяным он был такой веселый, а трезвым — сердитый и мрачный. Когда я читал книги о приключении пиратов, мне одновременно хотелось, чтобы всем повезло, чтобы те, которые ловят пиратов, поймали их, а пиратам желал удачно замести свои следы и от всего сердца готов был помочь и тем и другим. Только потом у меня появились сомнения: как же сделать так, чтобы все были счастливы, когда у людей такие противоречивые желания? Я сам страстно хотел отнять у соседского мальчика Митьки трехколесный велосипед и втайне согласился бы даже, чтобы этого золотушного и сопливого Митьку украл колдун.

И опять же забегаю вперед... Я уже был членом партии и думал: если коммунизм — счастье для всех, так почему же все друг другу пакостят?... И с ужасом вспоминается, что я никогда не видел ни одного счастливого человека.

И все-таки это очень важно, то, что я не мог понять, сразу же оставшись наедине со своей первой страстью, — а это все равно что остаться наедине с миром, который обрушивает на тебя всю свою свалку — поди разберись, — и не мог сразу же понять главного.

Рая, так звали мою первую любовь, с первого же свидания обещала мне райское блаженство. Глаза африканки и тугой шелк ничего не говорили о том, что я увидел потом...

Рая начала с полным знанием дела ту работу, которую в дальнейшем проделывала надо мной жизнь, и, может быть, успешно

завершила бы ее, если бы не внезапное пробуждение, вызванное гибелью синей мухи от моей руки.

Прошло немного времени — она мне уже изменяла, и я ей, но все же я продолжал ее любить и страдал безмерно. Потом, когда мне изменяли жизнь и женщины, я уже ничего не испытывал. Было только страшновато поначалу.

А сейчас уже не страшно. Осталось немного времени. Другие будут за меня решать вечные вопросы. Это всё-таки отдых. Вспомнились слова Стендаля: — ...и потом кто знает, просуществует ли мир еще три недели?

И вот теперь я убежден, что ничего более серьезного на свете нет, чем то, что у меня было в юные годы, когда я любил Раю.

Ведь ничего лучшего больше не было. Любопытно, что Рая это предсказала мне.

Может быть, поэтому я стал мрачен, как Шигалев, — помните: он смотрел так, как будто ждал разрушения мира, и не то чтоб когда-нибудь, по пророчествам, которые могли бы и не состояться, а совершенно определенно, так-этак послезавтра утром, ровно в двадцать пять минут одиннадцатого.

С Евлалией я познакомился на катке. Ей было восемнадцать лет, а мне тридцать пять.

Мы катались на коньках и почти ни о чем не говорили. Во всяком случае, я не могу вспомнить, чтобы мы в то время о чем-нибудь серьезно задумались вместе. Не помню как вышло, что я сделал ей предложение, и мы оказались счастливыми супругами.

И смех и грех.

— Товарищ философ, раз вы уже неоднократно вкусили счастье в той или иной степени, так на кой ляд вы всё еще пытаетесь устроить это счастье для всех?

Этот вопросик не прозвучал в моем расстроенном воображении, а задала мне его Зина, сестра моей жены — Евлалии, — женщина непостижимая, называет вещи своими именами, говорит правду, повергая тем в ужас ближних и дальних. Евлалия ее ненавидит и боится, но предпочитает не ссориться: от такой всего можно ждать. Не очень красивая, она пользуется большим успехом у мужчин. Живет в Тамбове. Муж ее, речной капитан, дома бывает редко, покорно выносит все ее прихоти, любит безумно, ни на одну женщину не взглянет, мухи не обидит, не то что я. При муже мне Зина как-то сказала:

— Он не смеет мне ни слова сказать, даже когда застает меня с кем-то в постели.

Он только поник головой.

— А вы говорите, что нет святых.

Интересно она говорила, Зина. Например, так:

— Мне вообще всё нравится. Я не притворяюсь, а живу. Не то, что ты и другие. Тебе, например, хочется со мной побаловать, но ты боишься до смерти Евлалии. Дурачек, уж так и быть, приду к тебе сегодня.

И так у меня оказался неожиданно новый замечательный союзник. Зина могла бы укрепить мои позиции в жизни. Но, разумеется, она и не думала мне помочь. Она только не издевалась над мной, но не хотела никого осчастливить...»

И СНОВА — ЖИЗНЬ

Несмотря на усилия врачей, надежды жены и полное отсутствие собственного сопротивления Иван Иванович все-таки выздоровел.

Вернулась Зина. Он говорил с ней ночью. Окрыленный внезапными надеждами, он предлагал ей бежать на край света. Но она слушала его с такой грустной улыбкой, что у него сжалось сердце. Потом тихо говорила:

— Глупый младенец! Ну куда мы убежим от самих себя? Допустим, что я с тобой уеду. Так ты потребуешь верности до гроба... А ты ведь знаешь, в каком месте моя душа. Ты же через месяц топиться пойдешь. Ну, сообразил, наконец? Тебе кажется, что я прекрасная женщина. Может быть, я и лучше, чем твоя корова Евлалия, но, вместе с тем, я и хуже ее для тебя, потому что она тебя никогда не погубит, а я — наверняка, так как ты имеешь плутовство меня любить. Но я-то не могу никого любить, хотя бы ангела небесного. И больше я к вам приезжать не буду. Разжалобил ты меня. А я ценю в жизни только удовольствие, потому что всё остальное — суррогат. Ты всё еще примериваешься к святым — хочешь быть не то Христом, не то еще кем-то, а я не могу быть кающейся Магдалиной, я могу быть просто Магдалиной. Без последующей святости. Я бы, пожалуй, скорее соблазнила этого бога; говорят, он был молодой и красивый.

— Страшные ты вещи говоришь, Зина.

— Неужто ты можешь еще бояться? Да что может быть страшнее хотя бы твоей жизни? Давай уж лучше прощаться... Но как следует.

*

Илья Варсонофьевич вошел в свою новую роль так легко и свободно, что даже сам не заметил этой примечательной метаморфозы. По натуре своей он не был склонен к философии, поэтому не знал того, что хорошо знают все актеры, а именно: когдаходишь в роль, особенно если она тебе по душе, то настолько с ней сживаешься, что перестаешь ощущать самого себя. И не только мысли, настроения, повадки того, чью роль ты играешь, входят в твою плоть и кровь, но они уже как бы не являются присвоенными, заученными, а твоими собственными, с которыми ты будто родился.

Итак, Илья Варсонофьевич сидел в своем кабинете, выслушивая почтительный доклад Михаила Архангелова. Он закончил так:

— Что касается этого Синебрюхова, то он лишь воображает себя гением, а в действительности — пустое место. Еще осмеливается учить Центральный Комитет...

— Однако как же он дерзнул?

— Да ведь вы сами хорошо знаете, Илья Варсонофьевич, когда случилось это поветрие пятьдесят шестого года, некоторые наши философы решили переделать мир на свой манер. Все это, конечно, чушь. Синица возмечтала зажечь море.

— Так говорите, ничего особенного?

— Решительно! — с апломбом подтвердил Архангелов.

— Ну, ладно...

Оставшись один, Илья Варсонофьевич еще несколько минут думал об этом странном человеке, осмелившемся не только резко критиковать руководство, но и предлагать кардинальные реформы, чуть ли не целую революцию... Знаем мы таких. Хочет выдвинуться, вылезть вперед. Но с такими нетерпеливыми надо поступать как со всеми фракционерами.

Илья Варсонофьевич невольно вспомнил эпизоды недавней борьбы, когда он чуть было не вылетел из седла. Положение было шаткое, но он сумел вовремя спруппировать свои силы и уничтожить противника. Он хорошо знал, что никаких серьезных разногласий с побежденными у него не было. А все сводилось к одному — к борьбе за власть. Илья Варсонофьевич был непоколебимо убежден, что всё то хорошо для страны, для народа, что связано с ним, с его пребыванием у власти. И тот, кто не признает его превосходства, не хочет учиться у него, а еще сам хочет учить... Жалкий писака какой-то.

Прочесть и вникнуть в то, что предлагает этот писака, Апо-

столу даже в голову не пришло. У него нет времени для разных фантастических проектов.

В большом двухэтажном особняке было тихо. За окнами зеленела густая поросль молодого парка, высокая чугунная ограда чернела вдали. Часовой отмеривал ровные шаги.

«Много ли человеку нужно?» — подумал Илья Варсонофьевич.

Михаил Архангелов считал, что сейчас его главной задачей является добить Синебрюхова как явного врага.

Почему Иван Иванович враг, Архангелов не думал. Но знал, что вся работа Ивана Ивановича направлена против таких, как он, Архангелов, и даже против самого Апостолова. Архангелов был одним из тех почти святых дураков, про которых сказал Достоевский: у него только главного толку не было в голове, но маленького подчиненного толку у него было довольно, даже до хитрости. Фанатически, младенчески преданный общему делу, а в сущности... Апостолову и вообще начальству... Исполнительная часть была потребностью этой мелкой, малорассудочной, вечно жаждущей подчинения чужой воле натуры, — конечно, не иначе как ради общего и великого дела. Но маленькие фанатики хуже и опаснее больших, потому что их масса, и они никак не могут понять служение идее иначе, как слияние ее с тем лицом, которое, по их понятию, выражает эту идею. Чувствительный, ласковый и добрый, он, быть может, был самым бесчувственным из убийц и притом безо всякой личной ненависти.

У Архангелова даже и лицо было нежное, иконописное, как у святого отрока. Он возмутился, если бы ему сказали, что он — типичный палач или бездушный манекен. Он даже сожалел, что сейчас уж не так просто расправиться с Иваном Ивановичем, как в былые незабвенные годы. Однако надеялся, что этот несдержанный и больной философ сам полезет в петлю. Разумеется, Архангелов поголковал со всеми главными редакторами и был вполне спокоен — никто уж не рискнет напечатать хоть бы строчку из сочинения Иоанна Синемухова.

Иван Иванович обо всем этом догадывался, твердо решил больше не делать попыток опубликовать свою книгу, а ждать лучших времен. Как все живые люди, он не терял надежд, хотя понимал, что надеяться не на что. Иногда он впадал в бешенство и отчаяние, но припадки эти были непродолжительны. Он успокаивался и только ежедневно думал об одном:

«Почему же именно его, может быть единственного, который

искренне готов помочь человечеству, все сговорились уничтожить?»

Это совпадение он не мог считать случайностью. Для него ясно стало, что это следствие определенного жизненного уклада, системы, одинаково губительной для всех. В конце концов, не от доброй или злой воли людей зависят их поступки. Так было, так будет. Вот единственный человек, который не желает зла — Зина. Но ведь и она ничем помочь не может.

И разве не он убил синюю муху?

ИЗ ЗАПИСОК СИНЕМУХОВА

«...Приходил ко мне Останкин. Рассказал, что обо мне так отозвался Архангелов: «Он от всех отшатнулся, от великих учителей, идей, всего, что для нас свято».

Я сказал ему в ответ:

— На это я могу тебе ответить словами Шатова: — Кого я бросил? Врагов живой жизни, боящихся собственной независимости, лакеев мысли, врагов личности и свободы, проповедников мертвечины и тухлятины.

Останкин выслушал меня и сказал печально:

— Иван, ты не понимаешь главного — никто тебя не уполномочил высказывать свежие истины и крикивать тухлятину. Чтобы это делать, надо суметь прежде занять соответствующее место. Умный, который думает, что дураки ему позволят себя учить, сам недалеко от них ушел.

— Да, я ведь только синяя муха... Пожалуй, и тебе больше не следует ко мне ходить. На всякий случай...

Останкин ушел очень смущенный. Он хороший человек. Надо его отвадить, а то он под моим влиянием может набедокурить. Я никогда не приносил людям зла. Если думать, что все — подлецы, то я тоже подлец, так как живу не честнее других, так же вру, притворяюсь, трушу, даже перед собственной женой.

Вообще — весело.

Сегодня арестовали моего сына. Этот балбес украл у домработницы Кати золотые часы, а та, в свою очередь, украла у Зины. Катя сама созналась. Ей обиднее всего не то, что Олег украл у нее часы, а что больше не хотел с ней водиться. Она интересно сказала:

«— Часы воровать — так у Кати, а любовь крутить — так с

этой рыжей лахудрой. Потому что, видите, она генеральская дочка».

Майор милиции мне сказал, что Олега упекут в лагерь. Евлатия заливаается. А мне его ничуть не жаль. Ничего из него не выйдет...

Вчера меня вызвал секретарь райкома. Он был несколько смущен. Долго говорил о том, что никакой труд человека не позорит, что поработав просто с людьми на самой обычной работе, становишься ближе к народным массам, и это мне поможет понять свои ошибки, и тогда я снова смогу работать на своем поприще. После этой получасовой преамбулы, он предложил мне занять должность инспектора жилищного отдела.

— Жилье — это теперь самое важное! — сказал он. — Вы будете в постоянном близком общении с рабочими, увидите, как живут люди. Надеюсь, это вам поможет излечиться от опасных иллюзий. Я сам вам буду помогать.

У меня мелькнула в голове забавная мысль, и я тут же согласился.

Я посоветовал бы всем желающим изучить советскую жизнь поработать в жилищном отделе.

Это замечательная школа.

И беглые заметки, которые я сделал без всяких ухищрений и вымысла, к которым постоянно прибегали Гоголь и Щедрин, потрясли меня самого и вызвали рой размышлений, которыми мне отчасти хочется поделиться с потомками.

На днях мне попала статья журналиста Грибачева. Он справедливо говорит, что лицемерие имеет общеизвестные вершины в классическом иезуитстве, и восклицает: — Понимает ли Джордж Мيني, что даже тысячи его поверхностных речей не стоят одной человеческой жизни?

Мне очень хочется задать вопрос Грибачеву:

— Понимает ли он, что тысячи его далеко не поверхностных слов не стоят одной из тех миллионов жизней невинно загубленных людей, погибших от руки злодеев, которых он прославляет, чей образ мыслей и жизни он противопоставляет Мини и другим? Вздыхая о том, что в Штатах раз в году линчуют одного негра, кстати самого рядового, подумал ли он о том, что у нас в течение года были замучены тысячи ни в чем не повинных евреев, и не рядовых, а видных деятелей науки и культуры: писателей, актеров, профессоров с мировыми именами? Что были почти полностью уничтожены целые народы: калмыки, чеченцы, ингуши, бал-

карцы, карачаевцы, крымские татары? Что сотни писателей всех республик погибли на каторге? Вспомнил ли Грибачев, проливая крокодиловые слезы об американских писателях, живущих на подавание, справку, которую он слышал на партсобрании московских писателей о том, что в одной Москве сто семьдесят престарелых и больных писателей живут впроголодь?

Впрочем, вряд ли когда-нибудь поймет Грибачев, что, выражаясь его словами, «розовый лак умиления» по адресу нашей страны, который течет и низвергается с его пера, не поможет делу коммунизма. Он верно сказал: — Разве не противно элементарному чувству человечности маскировать социальные язвы розочками поверхностного суесловия?

Очень противно! И мне было тошно читать статью эту.

Извините за правду! Но, как сказал ваш близкий родственник Пришибеев:

— Стало быть, по всем статьям закона выходит причина аттестовать всякое обстоятельство по взаимности.

Моя работа в жилищном отделе в первые месяцы совпала с предвыборной кампанией.

Одна пустая комедия, которая так дорого обходится людям. А сколько лживых речей, посулов! Даже выдвинуть в кандидаты нельзя никого, кроме тех, которых назначили свыше. Одного агитатора, очень хорошего и заботливого человека, выдвинули какие-то граждане. И вот ему объявили строгий выговор по партийной линии, за то, что он их не отговорил от этой затеи.

Я привык работать по ночам, ложусь очень поздно и почти не сплю. И думаю всё об одном. Когда же прекратится эта комедия? Все говорят, что не нужно никаких выборов, никаких Советов, все они ничего не решают, — пустые говорильни, — да и слишком дорого обходится это.

По-видимому, секретарь райкома, направляя меня на работу в жилищный отдел, конечно, не без ведома вышестоящих органов, не думал, что я всерьез заинтересуюсь работой, которая по плечу опытному дворнику. Как я впоследствии убедился, секретарь райкома и сам не имел представления о том, что происходит в этом учреждении, и не особенно интересовался — ведь он партийный деятель, руководит районом с населением свыше полумиллиона. Ему известно было, что с жильем обстоит неблагоприятно, — но что же делать? Есть еще немало узких мест. Что это неблагоприятные дурными и нерадивыми людьми, взяточниками и прохвостами,

превращается в катастрофу, — он, конечно, не знал. Но и знать не хотел.

Я всегда глубоко ненавидел чиновников, но полагал, что это просто паразиты, ко всему равнодушные, кроме своей собственной утробы. Но сейчас убедился, что среди них есть немало циников, злорадствующих обывателей, любителей поиздеваться над людьми.

Среди сотрудников жилотдела мне больше всего запомнились сам заведующий Иван Иванович Краснобрюхов и старший инспектор Розалия Абрамовна Загс.

Все, конечно, знали кто я и считали своим долгом обратить на себя мое внимание. Одни пытались меня как заблудшего, посланного к их станку исправиться, воспитывать в правоверном духе. Другие высказывали мне как отступнику свое тайное сочувствие, с неприкрытым цинизмом отзывались о работе своего учреждения, даже навязывались в приятели.

Мой шеф Краснобрюхов, по-видимому, не знал, какую ему следует избрать тактику со мной — то ли воспитывать, то ли дружить, — и впадал то в одну, то в другую крайность. Человек он был не глупый, и я был поражен, узнав его биографию, чудовищно не соответствующую тому человеку, с которым я теперь ежедневно общался.

Сын бедного крестьянина, он родился в начале века в захолустном и пыльном южном городке, носившем гордое имя Азов. Еще мальчишкой убежал из дому, поступил помощником кока на небольшую посудину, плававшую под голландским флагом, и объездил весь мир. Особых приключений у него не было, — какая там уж романтика на этой посудине, возившей табак и кишмиш? Ничего особенного, даже скучно. К вину и женщинам у Ивана Краснобрюхова склонности не было, а для других походов не было аренды. Ему стало скучно на корабле. Он вернулся на родину, защищал советскую власть от разных банд, поступил в летную школу и стал знаменитым летчиком. В годы Второй мировой войны сбил несколько юнкерсов, получил боевые награды, был шесть раз ранен и вернулся инвалидом. Он мог бы, разумеется, прожить на свою пенсию и ничего не делать, но беспокойная натура требовала движения и, главным образом, общения с людьми. Поэтому работа ему понравилась. Чего-чего, а шума, суеты, разнообразных людей, от героев Советского Союза до базарных жуликов, была тьма-тьмуца в грязных и темных коридорах нашего учреждения. Сотни «очередников» приходили чуть свет записываться на прием. «Очередники» — это лица, состоящие на учете

как нуждающиеся в жилплощади. Их были десятки тысяч, и ждали они своей очереди по восемь-десять лет, чтобы получить какую-нибудь комнату на целую семью. И чего тут только не наслышишься, — особенно проклятий по адресу советской власти. Некоторые ходили сюда почти ежедневно, как на работу, особенно женщины. Жилищные условия этих людей были таковы, что даже описывать страшно. Но наши клиенты рассказывали о них с упоением, словно калеки-нищие, выставляющие напоказ свои гниющие язвы.

Краснобрюхов сидел допоздна, всех принимал, всем обещал, хотя отлично знал, что обещания его невыполнимы. В это же время его сотрудники обдeldывали свои делишки, брали многотысячные взятки и разводили руками, когда на них набрасывались «очередники».

Но особенно привлекла мое внимание Розалия Абрамовна Загс. Я стал бывать у нее, познакомился с мужем, очередным любовником. Если посмотреть со стороны — ничего особенного, обычные люди, повторяющие извечные жесты руками, ногами, душой. Но когда взглядишься, увидишь в них новый вариант Фауста, очередную его трансформацию.

Как трудно однако разглядеть в космическом вихре истинное движение! Я понял, что путь художника должен предварить путь мыслителя, а потом они уже идут вместе через те высочайшие хребты и перевалы, которые доступны только гениям.

Порой мне всё-таки страшноовато. Мне кажется, что все дома, сосны, Дубов, Краснобрюхов угрожающе застыли на своих местах и никогда не сдвинутся, хотя это должно быть очень скучно — всегда на одном и том же месте. Но это, вероятно, засада. Меня хотят поймать, не дать пройти сквозь тесный строй, — ведь им известно, что именно я должен сдвинуть мир с мертвой точки. Как они вылупились на меня! И даже сосна стоит, как столб, раскинув крепкие сучья, чтобы меня можно было на ней распять.

Когда живешь на полную мощь, не замечаешь часто, что происходит вокруг, и не ясно понимаешь, что именно ты чувствуешь. А потом попробуй, вспомни! Воспоминания никогда не исчерпывают действительности, и если обладаешь прихотливым воображением, то легко в нищую суму насыпать все жемчужины мира. Или наоборот: опрокинуть пиришествственные столбы и глядеть на мир, как на горы осколков и черепков.

Воображение меня всегда обманывало. Проходя по аллеям кладбища, где похоронены мои незабвенные дни, я делаю надписи на могильных камнях, сочиняя свою биографию. Самое ужасное

заключается в том, что я никогда ни в чем не был уверен. Я любил, но не знаю, что такое любовь. Жил, но не знаю, для чего, хотя у меня каждый раз была цель, и даже не хватало времени, чтобы всё осуществить.

Каждый прожитый день был мне другом, — но в какой степени? Он ласкал меня рассеянно, иногда дарил медяки, иногда — золото. Но он был и врагом моим — колол меня, бил, ранил. И ни одного из них я не победил, хотя и не сдался ни разу. И завтра я опять проснусь и пойду навстречу другу с пальмовой ветвью, распростертыми объятьями и с камнем за пазухой.

Кто я такой?

Людям спотыкавшимся, бежавшим вприпрыжку и падавшим рядом со мной, может быть, и казалось, что мы с одинаковым успехом тормозим землю, как податливую девчонку.

Впрочем, это даже им не казалось. Еще не разобравшись ни в чем, я однако с большой силой ощущал свое великолепное гордое одиночество. Так, вероятно, чувствовало бы себя солнце в мировом пространстве, если бы оно обладало таким божественным воображением, как мое. В сравнении с тем, что оно вытворяло, действительность была чем-то столь незначительным и серым, что упоминать не стоит.

Кто же я такой? Но стоит ли в этом разбираться? А не послушаться ли Паскаля? Он дает такой совет: опасно слишком много показывать человеку, насколько он похож на бестию без того, чтобы не показать его величия. Но еще опаснее продемонстрировать его величие без низости. Однако опаснее всего оставить его в неведении относительно того и другого. Но и очень рискованно их ярко изобразить.

Я еще успею рассказать о трехугольнике Загс. А сейчас мне очень смешно. Честное слово, вся наша жизнь — сплошная гомерическая болтовня: каскады слов, водопады, фейерверки, миллионы тонн печальной болтовни, всесветная радиотрепотня. Пора создать новую науку — болтологию, исследовательский институт болтологии; материала накопилось больше, чем достаточно.

И вот пришел Останкин. Он единственный из моих бывших товарищей, не прервавший со мной связи, несмотря на то, что я его даже предупреждал: лучше ко мне не ходи. Евлалия на него возлагает надежды — может, он всё же уговорит меня бросить свои бредни.

Катя по-прежнему у нас. Вместе с Евлалией оплакивают Олега, уехавшего в места не столь отдаленные. Конечно, притворяет-

ся. Даже отец на нее махнул рукой. Никита Дуропляс иногда пощипывает ее и за одно поучает меня. Кажется, считает, что я впал в детство. Никита шабашничает пуще прежнего. Купил себе легковую машину. Катя по его поручению тоже обдѣльвает разные дебришки. Недавно я обнаружил у себя в кабинете сотню пыжиковых шапок. Евлалия посмотрела на меня с независимым видом и гордо заявила: «— Когда имеешь такого мужа, приходится идти на всякие дела. С твоей зарплатой не разживешься».

Так вот Останкин сказал, что ему официально поручили в последний раз попытаться на меня воздействовать. Требуют только одного — публичного раскаяния. Потому-то я так хохотал. Останкин — человек хороший, но, к сожалению, недалекий. Он считает, что поскольку у нас нет капиталистов и средства производства принадлежат государству, значит у нас всё-таки есть, хотя бы в зачаточной форме, социализм, и вся беда в том, что мы его не развиваем. Он понимает, что получилось совсем не то, но боится решительных мер.

Каяться у нас модно. И никто еще не попытался разоблачить эту комедию. Вот и приходится мне, Синей мухе, в свой закатный час совершить то, на что не осмеливаются посягнуть идеологи и художники... Разумеется, и школьник не поверит в то, что установившиеся люди, общественные деятели, писатели могут чуть ли не ежегодно каяться в своих ошибках и клятвенно обещать исправиться. Как будто возможно, чтобы взрослый человек не понимал, что он делает. Все знают, что это пошлая комедия. Но делают вид, что верят. Иначе нельзя. Если разоблачить одно притворство, найдутся любители разоблачить и все остальные. Так может всё полететь к чёрту. Ведь человечество всегда находилось на острие ножа, когда делало серьезные попытки разграничить добро и зло. Диалектика, это, по существу, пропасть. И в этой пропасти накопилось столько противоречий, что мир уже почти весь погряз в их трясине. Это началось с самого начала. Христианство как самая крупная попытка человечества разобраться в смысле своей жизни уже настолько запутало кардинальную проблему, что даже не оставило лазейки. В самом деле, как можно соединить в одном священном догмате иудейское свирепое «око за око» со смиренным «если тебя ударят в правую щеку, подставь левую»?

Материалисты выдвинули обоюдоострую диалектику, единство противоположностей. Но они не хотят признаться в том, что это единство не ведет ни к какому синтезу, что оно представляет собой два сплетенных тела страшных непримиримых врагов, стремящихся задушить друг друга. Когда же из свалки дерущихся

получалась истина? Гуманизм, как справедливо сказал Горький, уже опоздал на две тысячи лет. Сейчас два лагеря дошли до такой ярости, что могут только уничтожить друг друга, хотя немало людей знает, что для человечества выход только один — в прекращении борьбы, в объединении народов. Или родится единое человечество или погибнет весь мир.

Порой мне кажется, что и сам я всё же где-то фальшивлю, как дебютант, неуверенный в себе и боящийся публики. Я не в состоянии разобраться в своих чувствах, мысли часто противоречат и себе и здравому смыслу. Например, порой мне кажется, что я люблю Евлалию, хотя я как будто ненавижу ее. Человек — это какое-то немислимое множество, чемодан, в котором найдешь, что угодно, — поройся только. Потом Евлалия еще красива, это тоже много значит. Людей я презираю, но как меня к ним тянет!

Я ни в чем не уверен, разве только в одном: что я не подлец. Я не подлец, но подлецы вроде Дубова считают меня предателем. Но такие как Дубов, Архангелов, Осиноватый относятся к числу тех людей, о которых потрясающе сказал Достоевский: — Самый отвязанный подлец может быть совершенно и даже возвышенно честен в душе, в то же время нисколько не переставая быть подлецом.

Я хотел начать характеристику своих новых знакомых со слов «люди как люди». И тут же расхохотался. Когда же я, наконец, избавлюсь от своей наивности? Ну, если скажешь: лошадь как лошадь, это что-нибудь да означает. Но сказать: человек как человек, это всё-равно, что ничего не сказать.

Розалия была прелестна, обольстительна. В ее присутствии мужчины чувствовали себя так, словно их пытали на медленном огне. Особенно выдавал это своим восторженным обожанием ее муж, Моисей Лазаревич Загс, человек тщедушный, облезлый, с геморроидальным цветом лица, большими глазами обиженного пса, липкими губами и руками. Он постоянно и неотрывно смотрел на свою жену с тысячелетней тоской и неудовлетворенностью пилигрима, прошедшего тысячи верст по выжженной пустыне, и вот, он в обетованной земле, изнывающий от жажды, но в подворье все места заняты богатыми гостями, и он слоняется по коридорам, падая от усталости, умирая от жажды.

Розалия говорила своим поклонникам, с которыми у нее были прекрасные и ровные отношения, почти деловые:

— Мальчики, поймите: мой Моська на меня вечно облизывается, но у меня же нет возможности с ним заниматься, когда

вокруг такие претенденты. Притом у него слишком много желаний и слишком мало денег...

— Розита, а что ты понимаешь в жизни? — спрашивал ее очередной штатный любовник, Ричард Амчеславский, тренированный, жокейского вида, режиссер кинохроники.

Розалия отвечала, не задумываясь, как всегда:

— То же, что все наши. Долгой собственность, излишества, да здравствует коммунизм для всех... Кроме меня... Кроме меня, — напевала она на мотив «Севильского цирюльника». — Мы, женщины, которые высоко котируются, это очень хорошо понимаем. С пятнадцати лет я слышу от мужчин, что они желают уничтожить старый мир и отдать мне половину нового, лишь бы потрудиться вдвоем со мной над несложной проблемой деторождения.

— Однако детей у тебя нет.

— Дуралей! Ты забываешь, что мой муж — редактор. А разве тебе не известно, что редактор может творить только тошнотворные персонажи. Разве я рискну от такого родить ребенка? Он и меня хотел бы переделать в наседку, но руки коротки. Я же не автор, который тотчас же падает... Только такие, с позволения сказать, писатели как наши, могут соглашаться, чтоб их обслонявил мой Моська. А меня читатели любят без редакторской правки, такой, какой меня мама родила.

— Розита, я помню, когда-то ты говорила совсем другое... — робко заговорил Загс.

Розалия гневно перебила его:

— Моська, не смей вспоминать обо мне, как будто я уже умерла. Мало ли, что я говорила когда-то. Я и замуж за тебя вышла — так что из этого следует? Ты еще начнешь меня редактировать, уличать в непоследовательности, двурушничестве и прочих редакторских ужасах... Попробуй только!

Может ли быть что-нибудь прекраснее женщины, которая вся перед тобой — пленительная, разгневанная, желанная до безумия, как райское яблоко на древе познания? И вопрос: есть ли еще что-нибудь на свете, более достойное познания? Я вспомнил свою жизнь: Раю, первые годы с Евлалией, Зигу, — и пламенно заговорил:

— Нет, ничего нет лучшего на свете, чем то, о чем все боятся сказать вслух.

— Я понимаю вас, Ваня, — сказала Розита. — И, может быть, я постараюсь вам помочь. Все зависит от желания.

— Можешь ты иметь жалость к человеку? — спросил Амчеславский.

Розалия смеялась. Ее высокая грудь в красной шелковой кофточке вздрагивала, как знамя на ветру:

— И это говоришь ты, Ричард Комариное Сердце! Как будто сегодня есть на свете человек, который может пожалеть другого. Будьте уверены, что если бы вдруг появился этот смешной старик и задумал бы устроить всемирный потоп, он не нашел бы десяти праведников и даже подходящего кандидата на пост капитана Ноева ковчега. Мне нравятся эти гуманисты. Спросите Моську, и он вам скажет, что такое гуманизм.

Розалия покровительственно кивнула мужу, и он, воодушевившись яростной надеждой на возможность ночной награды, задыхаясь прокричал фистулой:

— Ха-ха! Гуманизм! Почему я должен ломать себе голову над спасением тунеядцев, которые только о том и думают, чтобы уничтожить друг друга? Мир накануне гибели. Нынешнее человечество ясно доказало, что оно вполне достойно гибели. Я — гуманист и потому считаю, что надо с ним покончить. Возможно, что кое-кто уцелеет, но, по правде сказать, я не уверен, что они сделают что-нибудь хорошее, если среди оставшихся будут люди старше трех лет.

— Браво, Моисей! — захлопал в ладоши Ричард Амчеславский. — Вот это коммунист!

— Ты не думай, Ричард, что ты уже все знаешь про коммунистов. Я могу тебе шепнуть, что нас еще, может быть, не успеют съесть червячки, как коммунисты начнут дубасить друг друга, а американцы, вроде Моргана, будут хлопать в ладоши от радости, что за дешевую плату смотрят такой спектакль. И увертюрочку к этому спектаклю мы уже видели: два вождя коммунизма, Сталин и Тито, — ну, остальное ты понимаешь.

Моисей Загс меня заинтриговал. И я с ним стал беседовать. Как-то рассказал ему о своих злоключениях. Он потирал свои липкие руки, слушал меня с наслаждением, потом сказал, слегка повизгивая:

— Правильно! Я тоже действую на манер Дубова. В нашей редакции я не пропускаю ни одного произведения, где есть хоть намек на истинное положение вещей. Каждый человек, и в особенности писатель, который говорит правду, — враг народа. Довольно и того, что о правде шутякаются. Наши редакции находятся в руках надежной банды. Ни один уважающий себя редактор не допустит и слова правды.

— Хорошо что еще случаются ошибки, вроде как у нас женщин — выкидывши, — сказала Розалия.

— Ну, это редкость, — злорадно подхватил Загс, — мы абортируем правду в самом зародыше, и теперь уж ни одна благонамеренная творческая личность не забеременеет правдой — они никогда не балуются со своими музами без предохранительных средств.

— Ага. Ты хочешь сказать, Моисей, что этот метод и есть социалистический реализм, — сказал Амчеславский.

— Можно согласиться. Ведь никто на свете не знает, что означают эти два слова. И вообще — творческий метод! Это всё равно что говорить о творческом методе производства людей. Каким методом сделали красавицу Розалию или уроду Моисея Загса? А? Произведение искусства — это самое великое чудо на свете. Но у нас говорят, что чудес не бывает. Поэтому я считаю своим партийным долгом уничтожать чудеса. Хорошо графу Толстому — Льву, и другим львам, что они вовремя догадались умереть. Будьте уверены, попади в наши руки «Война и мир» или «Братья Карамазовы», так мы бы из них «Бруски» сделали! Я бы поработал годик с автором, и из этого беспутного Ивана Карамазова вышел бы кавалер золотой звезды. А вы говорите...

— Моська, ты становишься на моих глазах слонем. Мальчишки, я боюсь с ним остаться на ночь, понимаете? Он же может, пользуясь вашим отсутствием, сделать из меня героиню Бабаевского, и вся моя работа под Достоевского пропадет даром.

— Не бойся, Розита, он слишком вошел в свою роль редактора. Но с такой девочкой, как ты, даже редактор может стать человеком, — сказал Амчеславский.

— Ричард, прошу без личностей, — сказал Загс.

— Моисей, разве мне нельзя как другу сделать тебе комплимент? Не будем ссориться. Слава Богу, у нас есть что делить. Друзья, приглашаю всех в «Прагу», выпьем, потанцуем. Я получил гонорар за свою колбасную картину — показал, знаете, пользуясь методом социалистического реализма, расширенное воспроизводство колбасы.

— Да? Когда же она выйдет на экран?

— Это другой вопрос. В припадке вдохновения я увлекся и на пленке произвел слишком много колбасы, сосисок, сарделек; но, говорят, что публика может начать скандалить, станет в очередь перед экраном — ну, сами знаете, что из этого получится. Так что пока ее решили не выпускать на экран.

— О, Боже мой, — внезапно опечаленная и помолодевшая, как березка в мае, сказала Розалия. — Я люблю всё красивое, но даже самая красивая ложь безобразна.

— Ты слишком умна, Розита, — сказал Амчеславский, — так ты можешь испортить себе жизнь красавицы, признанной всеми.

Розалия его не слушала. Я смотрел на нее с восхищением. И все вокруг показалось мне окрашенным геморроидальным цветом Моисея Загса. Тень, падавшая от него на жену, поглощала ее красоту, как ночной сумрак, обесцвечивающий самые яркие цветы. Я посмотрел с ненавистью на Загса, Амчеславского и свое отражение в зеркале. И не осмелился больше взглянуть на Розалию — ведь она принадлежала этим грязным скотам. И вся земля принадлежала им. — Я пришел не вовремя, час мой еще не пробил, но не кричите — я ухожу от вас, ухожу навсегда.

Работали в жилотделе, как во всех учреждениях, усердно.

Я тогда понял великий секрет — как можно проделывать множество разных манипуляций с утра до ночи и заставлять еще десятки тысяч людей суетиться, безвозвратно тратить на эту суетню миллиарды рабочих часов, не только не делая чего-нибудь полезного или хотя бы осмысленного, а принося один вред и муки людям.

То, что происходило в нашем жилотделе, повторялось на всей русской земле в десятках тысяч таких же грязных и заплеванных канцелярий.

Тысячи людей ежедневно осаждали нашу контору. Они добились одного — жить в человеческих условиях. Уже слишком долго, целые десятилетия прожили они в условиях нечеловеческих, спали вповалку, задыхались от нечистых испарений. Семья в пять человек обычно занимала площадь в семь-восемь метров. Они могли рассчитывать на двадцать, но для этого им надо было ходить в наши благоугодные заведения восемь-десять лет — кланчить, умолять, проклинать, падать в обморок, закатывать истерики, ругаться на чем свет стоит. Приносить сотни заявлений, справок, ходатайств, врачебных удостоверений... Наша задача, как и всех двадцати миллионов советских служащих, заключалась в одном — тянуть возможно дольше, давать неопределенные обещания, никому и ничему не верить, требовать бесконечное количество справок, уличать, проверять, контролировать.

Краснобрюхов меня поучал:

— Ты — первоначальная единица, первично проверяешь заявителей. Розалия Загс как старший инспектор проверяет тебя. Юрист контролирует вас обоих. Потом вас проверяю я и моих два заместителя. Меня проверяют, — он стал затигать пальцы, — инспектор райсовета, р-р-р-аз, инспектор райкома — д-д-два, зам-

предрайсовета Иван Соловей — т-т-три, сам пред Мосолкин — ч-ч-четыре, потом несть числа — работники госжилуправления, Моссовета, Госкомпроля, комиссии Верховного совета, прокуроры, инспектора государственной безопасности — и так без конца.

— Все проверяют, а что же делают?

— Чудак! Делать-то нам всем нечего. Выписать ордера — дело плевое. Наша уборщица могла бы с этим справиться, не нарушив, притом, справедливости, потому что она уже знает всю очередь наизусть, у многих детей крестила, один парень даже хотел на ней жениться, несмотря на то, что ей пятьдесят лет, надеясь на протекцию, но она отказалась за него выйти — больно зашибает. А жилплощади — чуть. Была бы жилплощадь, а мы никому не нужны. Лучше бы мы все пошли дома строить.

— Конечно, — обрадовался я.

Краснобрюхов устало махнул рукой:

— Эх ты, морская романтика. Это же не серьезно. Кто пойдет? Никто не хочет строить, все хотят бездельничать. Даже и строители сами работают — не бей лежачего. Посмотри на стройки нашего района. Ребята наши ездили в Америку и говорят, что там дом, большой, строят, три-четыре месяца, а у нас — пять лет, и не потому, что не умеют, а потому, что... Ну, и так далее. Но ты, пожалуй, скажешь, что вся советская власть — скопище бездельников?

— Скажу.

— Ну, брат, не нам с тобой учить советскую власть.

— А кому учить?

— Ученого учить... ты попробуй докажи, что он не ученый. Самы с усами.

— А не с носом?

— Ну, иди, брат, работай, а то дофилософствуешься.

И я работал.

Требовал бумажки. Побольше бумажек!

Люди, приходившие ко мне, толпились в узком коридорчике сиротливые, несчастные, подавленные тысячами тонн невыносимой свинцовой печали. Их глаза, отрешенные от мира, глядели на меня, как на Монблан, и, казалось, говорили: — Ну, как же тебя сдвинуть?

Они прятали свою ненависть, как женщины прячут скомканые носовые платки, мокрые от слез. Чужие жизни, непостижимые для меня, накатывались на мою душу, как морские валы, неся гальку и водоросли, которые били, облепливали меня. Я воочию увидел, как самое страшное чудовище пожирает людей, я видел,

как сочится их кровь, я видел, как дымятся их разорванные сердца, и как один из миллиона зубов жевал их, не в силах остановиться — ведь я — зуб, крепко сидевший в челюсти чудовища на положенном месте. Оставалась одна надежда, что чудовище начнет пожирать самого себя... Но когда это будет? Мир мне казался огромным кладбищем, куда живые пришли для окончательной расправы. Они стояли в очереди с пяти часов утра, хотя мы начинали работать в десять. Стояли, чтоб услышать от Краснобрюхова:

— Всё, гражданин. Где я вам возьму жилплощадь?

И они уходили, поднимались из нашего полуподвала в мрак и слякоть ночи: — Граждане и гражданочки, не смейте унывать и жаловаться, пишите заявления, принесите справки из любого учреждения, там их вам выдадут, что вы счастливо прожили многие годы, иначе...

Кажется я один думал еще, пытался что-то обобщать. Другие не смели. Вот она — жизнь! В полуподвале райжилотдела происходил финал мировой трагедии, бушевали неистовые страсти, в дыму и копоти мелькали пленительные глаза Розалии, она улыбалась, и для этого стоило жить.

Мне хотелось кому-то отомстить, но у меня не было никаких шансов. И я смиренно просил прощения у человечества за то, что не могу его спасти.

«Вкушая, вкусил мало сладости, и се аз умираю...»

Но воскресенье — день не рабочий, так что я не воскресну. Все учреждения закрыты, я даже не знаю, кто мне выдаст патент на бессмертие. Я утешался тем потом, что понедельник — тяжелый день, в такой день спасать людей не стоит, они, пожалуй, и сами не рискнут спасаться в тяжелый день, а другие дни тоже казались неподходящими...

Я медленно брел по улице, по традиции глядел в освещенные окна, за толстыми занавесями двигались тени, тщательно укрывая от чужого глаза свой сор и беду, как великую тайну, а я шел домой, где на меня, как обвал, осыпались все мои беды, — Евлаллия швыряла в меня взгляды, начиненные ненавистью, и мне даже не от кого было скрывать свои тайны: я был один в целом мире, один в этом многомиллионном городе, я шел по ступенькам вверх и вниз, требовал справок, писал бумажки, ел три раза в день, а пища была настоящая, свежая, — Евлаллия кормила меня на убой, соусы были с острыми приправами...

— Не гляди же в зеркало, старый колпак! Там плещется море безнадежности. Там свирепствует шторм отчаяния, там гибнут твои океанские корабли, груженные золотым руном, которое ты

же отыскал. Загляни в свои воспоминания, наклонись над тихим озером, где как белые лебеди, плывут твои юные дни...

Вот как я жил — даже белые лебеди...

Жизнь!

Ничего не скажешь: если взглянуть на нее глазом знатока, в ней отыщутся изумительные частности. Но кому охота?

Я прихожу к таким неожиданным выводам, что нахожусь беспрерывно в состоянии трепетного удивления, как дети, впервые узнавшие ужас и восторг бытия.

И понимаю, почему это: мы слишком долго играли. И всё проиграла — веру, идею, восторги, радость, надежды.

Так, что ли?

Только Розалия, затащив меня как-то к себе, заставила еще раз с чудовищной силой испытать острые ощущения прыжка в бездну. Потом она говорила мне тихо и певуче:

— Старичок, ты, оказывается, еще годен на многое. Только надо сумеешь зажечь газ. Не правда ли? Но для этого нужно иметь спичку... Теперь я поняла, что ты в самом деле философ.

— А кто же ты? В тебе есть что-то нечеловеческое, Розита.

— Конечно, дурачок. Видишь ли, мы, женщины, ценим мужчин главным образом по тому, как они проявляют себя в постели и сколько они нам приносят денег. Но многие из нас забывают, что и мы должны себя так держать, чтобы мужчина мог себя проявить. Ну, в общем, нужна спичка. А у меня их, видимо, целый коробок, как говорит мой ученый муж Моська.

— Может быть... Но если есть внутренняя гармония, то в ней всегда хаос, — сказал я печально.

— У меня есть. На житейской ярмарке я делаю крупные оптовые обороты с активным салыдо. И без всякого обмана. Спроси кого угодно, даже моего Моську, который только облизывается.

— Ты чудо, Розита.

— Возможно. Я и сама думаю, что толково сделана. Жаль, что в свое время не успела спросить папу и маму, как это у них получилось.

Когда мы вышли в столовую, полные еще усталости и блаженства, Загс сидел за столом и уныло читал рукопись. Он испуганно посмотрел на меня, потом ласково сказал Розалии:

— Мамочка, у тебя опять была эта страшная боль под ложечкой? Ты так кричала, что твои крики я слышал на лестнице.

Розалия сказала печально и задумчиво:

— Да, я боюсь, что они сведут меня в могилу. Иван Иванович

бегал в аптеку за валидоном. Если бы не он, ужине знаю, что со мной было бы.

Загс смотрел на жену виновато и просительно. Потом она мне щепнула:

— Ему не то обидно, что я кричу в обществе других, а то, что с ним, когда он получает свой паек, я нема как могила.

На другой день Загс мне говорил, потирая свои желтые потные руки:

— Зарезал сегодня романчик. Произведение гениальное! Не уступит графу Толстому. Никак не думал, что у нас еще водятся гении после двадцатилетней очистительной работы. Ну и чудак мировой! Забыл, где живет. Вместо того, чтобы писать инсценированный доклад о посевной компании, размахнулся на «Войну и мир». Видали такого осла?

Я не выдержал и спросил:

— Загс, у вас болят зубы?

— Нет...

— А то я мог бы сбежать в аптеку за каплями.

Розалия шумно вздохнула. Грудь ее поднялась.

— Я думаю, — сказала она, — он сам сходит. Да, пожалуйте, Моська, сходи. И раньше чем через три часа не возвращайся.

Загс стоял еще на пороге, когда Розалия начала расстегивать платье.

С чего-то я начал вести воображаемые разговоры с разными лицами, особенно, с Апостоловым. Может быть потому, что в действительности мне с ним говорить не придется. Но поймите, мне же необходимо с ним сразиться, хотя бы для истории. Ведь ясно, что, в конце концов, командовать парадом буду я.

— Так вот, Илья Варсонофьевич, вы утверждаете, что владыкой мира будет труд?

— А кто же еще?

— А нельзя ли вовсе без владыки?

— То есть как это? Анархия вам нужна?

— Ничего подобного. Вы просто не можете себе представить мир свободным. Обязательно кто-то должен властвовать.

— А как же иначе?

— Подумайте о будущем. Через сто лет уже всё будут делать машины. Не только работать, но и управлять, контролировать, решать, судить, переводить, — всё, что угодно. Людям останется только одно — воображать и размножаться. Но назвать это трудом никак нельзя. А когда людям делать нечего, да еще отсут-

вует забота о завтрашнем дне, — это может повести к всемирному озорству.

— Вы пытаетесь оклеветать коммунизм по рецепту ревизионистов.

— Нет, я не клеветцу. Это просто то, что будет. Кстати, тогда ведь и партий никаких не будет. Интересно, Илья Варсонофьевич, как же коммунисты тогда будут осуществлять свою авангардную роль?

— Авангардную роль всегда можно осуществлять, если ты способен. Притом — самокритика. Не все будут на высоте.

— Тоже пустые слова. Самокритика — это выдумка для дураков. Никто себя не может критиковать. А, главное, — не хочет. Такого чудака на свете еще не было и не будет.

Ричард Амчеславский получил отставку. Розалия больше не хочет с ним... Он сказал мне на прощанье:

— Все проходит — иногда медленно, иногда быстро. Но я не имею пагубной привычки думать. И вам совету отучиться.

Розалия мне сказала:

— Базар. Ходовая торговля. Пока есть деньги — всё продается. Я горжусь, что моя любовь ценится на вес золота. Так давай поживем, Ванюша, пока еще из золота не делают унитазы.

Я гляжу на нее и снова теряю спокойствие. А к чему, спрашивается? Мне же не совладать даже с одной пиной такого обжигающего напитка. Припадешь к горлышку, глаза закроешь (почему-то слышнее становится), как уже где-то поблизости смерть бродит, шуршат под ее ногами осенние листья. Вдруг цапнет — и всё... Конечно, ничего особенного. Но самое страшное в том, что уж докатился до ежедневных размышлений о конце. Нельзя человеку долго жить. Надо умереть до того, как начнешь каждую ночь думать о смерти.

Вчера перечитывал свои записки.

Мне казалось, что там всё неправдоподобно. И даже я сам.

Но я могу только повторить слова Виктора Гюго: мы не претендуем на то, что наш портрет правдоподобен, скажем только одно — он правдив.

Если уж говорить об успехе, то самым преуспевающим человеком был Ричард Амчеславский. Он был высок, красив, неотразим. Он имел успех. У женщин. В искусстве. И вообще в жизни. Даже Розалия его хвалила. Он недавно получил орден Ленина. Уж я-то никогда не получу.

Идет избирательная кампания. Я тоже хожу по квартирам. Ну и живут же люди! Это превосходит всякую фантазию. Впрочем, чёрт с ними. Ты этого сам хотел, Жорж Данден.

Что же будет дальше?

Розалия убивает меня с жестоким великолепием Нерона. Вот это настоящий гуманизм!

Какая идиотская канитель — морить усталое сердце горькими каплями провинциального аптекаря. Но какое надо иметь щедрое сердце, чтобы сделать умирание уставшего феерическим праздником. Ритм, данный жизни Розалией, вызывает смертельную аритмию. Вот это — стиль! Пусть они не думают, что синемухи не умеют умирать.

Если Розалия порочна, то отныне я провозглашаю порок венцом всех добродетелей...

Читал свои записки Останкину. Он сказал:

— Ты знаешь, друг, что-то пахнет подпольем Федора Михайловича.

— Но ведь не мы с тобой загнали жизнь в подполье. Разве ты обнаружил у меня хоть один звук неправды?

Останкин промолчал.

— Впрочем, — прибавил я не без ехидства, — вероятно и мы содействовали.

— Чем? — испугался Останкин.

— Терпением. Ты помнишь слова Горького? Я их заучил наизусть. Вот они: — Терпение — это добродетель скота, дерева, камня. Ничто не уродует человека так страшно, как терпение, покорность силе внешних условий. И если, в конце концов, я всё-таки лягу в землю изуродованным, то не без гордости скажу в свой последний час, что добрые люди лет сорок серьезно заботились исказить душу мою, но упрямый труд их не весьма удачен... Вот так сказал Горький. Как будто и про меня сказал.

— Ты всё выдумываешь, Иван, и себя и других выдумываешь... В жизни все проще.

— Уж чего проще, — вскрикнул я. — Просто до тошноты, до отвращения. Но вспомни — ведь всё прекрасное на свете выдуманно: рай, Прометей, Джульетта. И знаешь, порой я сам удивляюсь, что действительно существует, а никем не придуман, Иван Синемухов. Может быть, я и заслуживаю нимб. И еще, — может быть, ты поверишь всё-таки, что я один остался на земле, вот такой...

И, знаете, — я забыл сказать, что сейчас глубокая осень, земля похожа на старуху с желтым сморщенным лицом, в бурьих лохмотьях, из-под которых торчат чуть ли не оголенные ребра, а из

глаз текут крупные желтые слёзы. Ведь это ужасно, что красавица становится такой непристойно уродливой. Как это допускает природа, знающая толк в красоте?

Как она допускает, что даже я сам, спаситель, должен разбить себе голову об стену? Ведь никто не хочет слушать... Кругом четыре стены...

Душа человека создана из неточных конструкций, из неустойчивых элементов, поэтому в жизни человечества возникают мгно-венья совершенства, вводящие в заблуждение историков. Разве может утешить Леонардо да Винчи оскорбленного Человека? Оскорбленного Человека, который вынужден прожить столетия в обществе горилл и павианов. Идеи — молнии, революции — грозы, но разве может даже самая сильная проза повлиять на движение Земли? Трагические толпы, словно клубы пыли, мечущая по миру, их безостановочно гонит ураган, и в этот хаос глупые пигмеи пытаются внести гармонию, геометрические формулы, бесконечные перспективы. Жалкие глупцы не слышали предостережения мудреца:

— Геометрия обманывает, только ураган правдив.

Но почему меня на краю гибели охватывает такое веселое отчаяние?

Говорят, что Наполеон тоже был весел в роковой день Ватерлоо. Я никогда не был уверен в окружавших меня обстоятельствах и людях. Если утро их слало мне как надежных союзников, то уже полдень их проявлял как сообщников, которые себе на уме, а в темноте они подкрадывались как тать в ночи, грозя предательским ударом. Всю жизнь я ощущал чей-то нож вблизи, от которого у меня холодела спина. Горе мое еще и в том, что я никогда не утешался переменой мест радужных и злосчастных предзнаменований — ведь результат всегда один. И так будет продолжаться до той поры, пока человечество не осмелится бросить вызов своей судьбе, выбранной им добровольно. Если мир — ужасный кабак, если вы, владыки, захватили власть в этом кабаке, то вы обязаны помнить хотя бы об обязанностях кабатчиков, изложенных с французским изяществом всеми признанным мэтром:

«Обязанность кабатчика — уметь продавать первому встречному еду, покой, свет, тепло, грязные простыни, служанку, блох, улыбки».

Оказывается не так-то просто. Наши кабатчики явно не справляются. Но что же делать, если я родился не кариатидой, поддерживающей чужие скрижалы, а горным потоком, низвергающим всю мировую плесень?..

Страшно видеть идеал таким затерянным в глубинах, маленьким, одиноким, едва заметным, сверкающим, но окруженным несметными угрозами — чудовищами, обступившими его: звезда в пасти туч.

Когда же она взойдет — звезда пленительного счастья!

Я вызываю ночь на очную ставку.

Я бросаю вызов безмолвию народа.

Я начинаю разговор межконтинентальными ракетами.

Не забудьте, что слово, закованное в цепи, самое сильное и действенное. Когда-нибудь люди сорвут цепи с моих страшных слов и будут ими прищипываться, как христиане кровью Спасителя.

Из моего притворного молчания, как из невидного родника, вытекают огромные потоки — лава. Она застынет над миром, как бронза, и на ней вырастет мой памятник, нерукотворный.

Если метрвы все идеи, надо покончить с миром и начать сызнова.

Розалия мне сказала:

— Старый мальчишка, мальчишеский старичок, если есть Бог на свете, то Ему перед тобой стыдно. Так пей же вино, дыши Монбланом, целуй мои губы.

Большие города даже в тихие прохладные ночи сохраняют пыльное удушье, отзвуки машинного скрежета, и за это я их не люблю даже в лучшие минуты жизни. Надо жить в тихих местах, на берегах морей, в лесистых горах, которые в часы тишины и покоя пахнут росой, ландышами, соленой влагой прибой.

К сожалению, я живу в большом городе. Я всё понял. Но что из этого следует? Розалия мне сказала, что меня могут объявить сумасшедшим. У нас в России на этот счет имеется солидная традиция.

Но я уже ничего не боялся. Я слишком много потерял. После таких потерь жизнь потерять — уже не страшно. Это всё равно, что потерять кулек, в котором остались только крошки.

Но даже кулек мне дорог.

Я чувствую себя чем-то вроде Бога.

Я вездесущ — всё вижу, всё знаю. Разумеется, как Бог я не должен испытывать никаких чувств, но здесь мое уязвимое место — мне явно нехватает божественного равнодушия.

Розалия мне сказала, что она нередко забывает, с кем она рядом:

— Твои мысли меня возбуждают так, что я озорничаю как богиня. А ты?

Не мог же я признаться, что с Евлалией уже несколько лет не чувствую себя мужчиной, и даже предполагал, что мои силы исчерпаны, а одно воспоминание о Розите заставляет меня по ночам метаться в постели. Должно быть, всё-таки есть любовь.

— Розита, я ничего не думаю. Я тебя не породил и я тебя не убью. Конечно, я бы из романа твоей жизни с удовольствием вычеркнул Моську Запса. Но чёрт побери! Вероятно не существует чистых романов, как не существует чистых атомных бомб.

Она немного подумала, потом постаралась меня утешить:

— Только время судит беспристрастно... И почти всех и всё оправдывает. Потом... А пока — Боже, как оно издевается и мстит доверчивым дуракам.

— Дорогая моя, — воскликнул я, подняв руки, — ты даже будущему не доверяешь!

Она посмотрела на меня высокомерно:

— И ты еще спрашиваешь? Ты? Неужели ты не можешь предсказать будущность волчьего выводка? Конечно, иные философы дошли до такого идиотизма, что надеются посадить волков на вегетарианскую диету. Но для идиотов закон не писан. Пока мы забавляемся только тысячи лет, а миллионы лет тянули лямку. И забавлялись тоже только тысячи, а миллиарды по-прежнему тянут лямку. А когда начнут забавляться миллионы... Не исключено, что шарик вылетит со своей орбиты, и кончится эта история, порядком надоевшая всем, которые вынуждены ее делать за небольшое вознаграждение, да к тому же еще в обесцененной валюте.

*Не все ли равно, сколько людей
страдает — один или много! Один
человек может испытать все му-
ки, существующие на свете.*

Грехэм Грин

Этот человек — я.

Между мною и другими та разница, что я не могу жить применительно к подлости. Для меня наступает эпоха без эпохи, по выражению Гёте, — то есть пустыня на краю ночи.

Я никому не завидую. Еще в начале прошлого века было сказано: да и что толку в том, что я стану, скажем, делать хорошее железо, а на душе у меня будет лишь одна гарь. Горе всякому прогрессу, имеющему в виду только конечный результат, и ни-

сколько не озабоченному тем, чтобы осчастливить нас на пути к его осуществлению.

— Куда мы идем? — спросил я Розиту.

— К одному из концов.

Я не понял. Она пояснила:

— И после этого конца будет новое начало, и дураки опять будут ноги бить.

— Какой же смысл? — спросил я.

— Смысл в пути. То, что стащишь по дороге — твое. Цель — такая же чепуха, как Бог.

Загс ядовито усмехнулся:

— Розита, разве ты не знаешь, что это библия лжесоциалистов: цель — ничто, движение — всё.

Она смерила его тщедушную фигурку презрительно насмешливым взглядом:

— Еще неизвестно, кто лжесоциалист... Впрочем, все социалисты лже... Потому что все социализмы на деле оказались бредом сивой кобылы. И не обижайся на меня, но разница между меньшевиками и большевиками только в том, что одни меньше, а другие больше насолили миру.

*Только все люди, вместе взятые,
составляют человечество, и только
все силы, вместе взятые и
совместно действующие, составляют мир.*

Гёте

Замечательное определение коммунизма.

Но есть ли на свете два человека, вместе взятые?

И есть ли на свете две силы, совместно действующие?

Я полюбил Розиту — мы были часто двумя силами огромного потенциала, но она уже остывает — мы начинаем отталкиваться, как встретившиеся метеоры: удар — осколки — пыль...

Нет человечества. Нет мира, нет меня.

— Что ты хочешь? — говорит Розита. — Ты хочешь, чтобы я одна построила для тебя новый мир. Ты слишком меня переоцениваешь. Вот он пред тобой — новый мир — но бьюсь об заклад, в нем происходит всё то же, что и в старом, который мы оставили позади. Если ты не умеешь сводничать, ты никому не нужен.. Да, никому, вечный Иван!

— Если б хоть одной тебе, — простонал я.

— Не глупи. А я кто? Я ведь не Евлалия, я знаю, что ты гений и тебе нужны вечные ценности. А я скоропроходящая. Как только оболочка моей души потеряет свою соблазнительную упругость — моя роль окончена. Так что мне надо торопиться. Я не создала философии мира, как ты. Только сладкие воспоминания могут меня утешить.

Я всё чаще впадаю в странное состояние, когда, с одной стороны, ощущаю безмерное счастье бога, а с другой — безмерную муку червяка, на которого наступил чей-то сапог.

Ежедневно всё та же погода: переменная облачность без существенных осадков.

И как это я ухитрился, проведя всю жизнь в этом умеренном климате, постоянно лихорадить, ощущать тропический зной, плыть в штормовых океанах, где душу мою трепали самумы, сирокко, тайфуны и трамонтаны?

Но вот вопрос:

— Если я на земле не обнаружил ни одной тропинки, на которой завалился бы хоть осколок разбитого счастья, почему же мне так хочется жить?..

РЕКВИЕМ

Надо разобраться.

Синяя муха погибла во цвете дней.

Ее предсмертный час мне многое раскрыл, пожалуй, больше, чем вся предыдущая история человечества.

Дело обстоит так:

Люди как мухи — и по количеству и по качеству.

Их слишком много, они одноцветны — ведь их окрашивают одни и те же желания, настолько ярко выраженные, что оттенки прихотей и капризов ложатся лишь легкими тенями, слегка омрачающими фон. Душевный спектр так же вечен и неизменен, как солнечный. И главное в нем — невидимые части — ультра и инфра.

Человековеды туда заглядывали редко и неохотно.

В древности ограничивались только видимыми лучами. Потом было несколько душепроходцев. Самый смелый и дерзкий из них — Достоевский, Колумб душевного мира.

Сейчас пытаются закрыть все проходы. Душа — не канцелярия. По штату она не положена. Все ее работники уволены. В том числе и я.

Надеюсь, что синяя муха научит вас, как надо жить.

ОТ РЕДАКЦИИ

Нам прислали из России один экземпляр журнала «Ф Е Н И К С».

Что это такое?

«Ф е н и к с» — подпольный рукописный литературный журнал московской молодежи. Имена редактора или редколлегии не указаны. Из многочисленных авторов известны лишь умерший Борис Пастернак и здравствующий ныне молодой поэт Иван Харабаров. Можно предполагать, что многие произведения были получены не непосредственно от авторов, а собраны составителями «Ф е н и к с а» среди любителей свободной литературы, передающих из рук в руки неопубликованные рукописи.

«Ф е н и к с» — один из многочисленных подпольных журналов, распространяющихся сейчас по России. Мы решили опубликовать полученный нами номер «Ф е н и к с а» полностью — потому, что мы видим в нём ценнейший документ нашего времени. Это — идеологический портрет современной российской молодежи. Он совершенно не похож на тот, который преподносит казенная пресса. Журнал дает горькую и трезвую оценку нашей действительности, он полон активного протеста против неё. Поиски нового в области искусства и утверждение положительных ценностей, прежде всего ценности человека, — характерны для многих произведений, напечатанных в «Ф е н и к с е». И, — что главное, — радикальная революционность определяет гражданское и политическое лицо журнала.

Говорит Молодая Россия. Говорит Москва. Слушайте её!

Р е д а к ц и я

Н. Н О Р

НОИМ ЛРУЗЬЯМ

Нет, не нам разряжать пистолеты
В середине зеленых колонн!
Мы для этого слышим посты,
А противник наш слишком силен.
Нет, не в нас возродится Гандей
В тот гудящий, решительный час!
Мы поль больше по части идей,
А зубина — она не для нас.
Нет, не нам поднимать пистолеты!
Но для самых ответственных дат
Создавала эпоха поэтов,
А они создавали солдат.

О ЧЕМ ЗАПЕРЧИЛИСЯ ГУБЫ,
КАКОЕ СЛОВО ИМ ХОТЕЛОСЬ?

Ф Е Н И К С
Москва, 1961г.
№ I

ПИШИТЕ ПРАВДУ, ЧТОБЫ СЛОВО ЖИЛО;
ЧТОБ ПОД ВУАЛЬЮ ПОКРЫВАЛА
МЫСЛЬ, ЗАКРУЧЕННАЯ, КАК ПРУЖИНА,
ВДРУГ ПРИКОСНУВШИХСЯ -
УБИВАЛА.

Стефан Цвейг

ПОЛИФЕМ

Пер. с нем. Н. Нора

Уже три года живем мы
В твоей пещере,
В пещере ужаса, тьмы и дурных предчувствий,
Полифем,
Ты, вечно голодный, пожирающий людей великан,
Чей глаз,
Жестокий, стальной,
Не знает блаженной слезы.

День за днем
Врывается твоя волосатая рука
В наши ряды,
Ощупывает наши пронизанные ужасом
Части тела,
Отрывает
Друга от друзей,
Брата от братьев.

Разбивает
О скалы судьбы,
Череп, наполненные любовью и теплыми мыслями,
Дела, возбужденные прелестью жизни,
А твоя оромная звериная пасть
Жадно глотает священное мясо
Людей.
Как звери в клетке,

Содрогаюсь во тьме
Кровавой пещеры,
Сидим мы нагими
И спрашиваем друг друга глазами рабов:
«Когда ты? Когда я? Когда последний
Из людей
Попадет в брюхо
Жиреющего
Бесчувственного зверя?»
Наши щеки обмякли
От пролитых слез,
Наши глаза
Попускинели от каждодневного позорного зрелища,
Железный обруч
Сжимает наши гортани.
Когда ты воспеваешь красоту земли,
Мы не можем говорить,
Мы только стонем.
Как птицы во время бури,
Сопреваемся мы,
Прижавшись друг к другу.
Но мы сжимаем кулаки
Так, что кровь выступает из-под ногтей.
А он,
Пьяный от крови,
Обнаглевший от мяса
Священных людей,
Валяется в растяжку
На вечной земле.
С утра до полудня
Лежит он, растянувшись,
Людоед,
Выкорчевывает леса,
Разрушает города
И смеется
Холодным глазом, не знающим слез,
Прямо в небо,
Где боги-сони все спят и спят.
Но берегись, Полифем!
В наших душах

Незаметно разгорается
Пламя мести:
Дыхание мертвых раздувает оно в пожар.
Мы уже готовим ночами кол,
Кол для твоего глаза,
Жестокого, холодного, не знающего слез!
Берегись, берегись, Полифем!
Мы уже обжигаем в огне острие.
Жри, пей, объедайся, Полифем,
Но когда ты заснешь после жратвы,
Мы загоним кол в твой череп.
И, перешагнув через труп,
Выйдем мы,
Братья народов, братья времени,
Из пещеры ужаса и крови
Под вечное небо земли.

Б. Пастернак

ОДНО СТИХОТВОРЕНИЕ

Гул затих. Я вышел на подмости,
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.

На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можешь, авве отче,
Чашу эту мимо пронеси.

Я люблю твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль.
Но сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь.

Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, всё тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти.

Б. Пастернак

ИЗ АВТОБИОГРАФИИ

7

Я не буду описывать моих отношений с Маяковским. Между нами никогда не было короткости. Его признание меня преувеличивает. Его почку зрения на мои вещи искажают. Он не любил «Девятьсот пятого года» и «Лейтенанта Шмидта» и писание их считал ошибкою. Ему нравились две книги: «Поверх барьеров» и «Сестра моя жизнь».

Я не буду приводить истории наших встреч и расхождений. Я постараюсь дать, насколько могу, общую характеристику Маяковского и его значения. Разумеется, и то и другое будет субъективно окрашено и пристрастно.

8

Начнем с главного. Мы не имеем понятия о сердечном перза-нии, предшествующем самоубийству. Под физической пыткой на дыбе ежеминутно теряют сознание, муки истязания так велики, что сами невыносимостью своей близят конец. Но человек, подвергнутый палаческой расправе, еще не уничтожен. Владая в беспомощности от боли, он присутствует при своем конце, его прошлое принадлежит ему, его воспоминания при нем и, если он захочет, может воспользоваться ими, перед смертью они могут ему помочь.

Приходя к мысли о самоубийстве, ставят крест на себя, отворачиваются от прошлого, объявляют себя банкротами, а свои воспоминания недействительными. Эти воспоминания уже не могут дотянуться до человека, спасти и поддержать его. Непрерывность внутреннего существования нарушена, личность кончилась. Может быть в заключение убивают себя не из верности принятому решению, а из нестерпимости этой тоски, неведомо кому принадлежащей, этого страдания в отсутствие страдающего, этого пустого, не заполненного продолжающейся жизнью, ожидания.

Мне кажется, Маяковский застрелился из гордости, оттого,

что он осудил что-то в себе или около себя, с чем не могло мириться его самолюбие. Есенин повесился, толком не вдумавшись в последствия и в глубине души полагая, — как знать, может быть это еще не конец и, неровен час, бабушка надвое гадала. Марина Цветаева всю жизнь заслонялась от повседневности работой, и когда ей показалось, что это непозволительная роскошь и ради сына она должна временно пожертвовать увлекательной страстью и взглянуть кругом трезво, она увидела хаос, не пропущенный сквозь творчество, неподвижный, непривычный, косный, в испуге отшатнулась и, не зная, куда деться от ужаса, в попытках спряталась в смерть, сунув голову в петлю, как под подушку. Мне кажется, Паоло Яшвили, уже ничего не понимал, как колдовством оплетенный шигалевищиной тридцать седьмого года, и ночью глядел на спящую дочь и воображал, что больше недостойн глядеть на нее, и утром пошел к товарищам и дробью из двух стволов разнес себе череп. И мне кажется, что Фадеев, с той виноватой улыбкой, которую он сумел пронести сквозь все хитросплетения политики, в последнюю минуту перед выстрелом мог проститься с собой с такими, что ли, словами: «Ну вот, всё кончено, прощай, Саша».

Но все они мучились неопишимо, мучились в той степени, когда чувство тоски уже является душевною болезнью. И помимо их таланта и светлой памяти участливо склонимся также перед их страданием.

9

Итак, летом 1914 года в кофейне на Арбате должна была произойти ошибка двух литературных групп. С нашей стороны был я и Бобров. С их стороны предполагались Третьяков и Шершеневич. Но они привели с собой Маяковского.

Оказалось, вид молодого человека, сверх ожидания, был мне знаком по коридорам Пятой гимназии, где он учился двумя классами ниже, и по кулуарам симфонических, где он мне попадался на глаза в антрактах.

Несколько раньше один будущий слепой его приверженец показал мне какую-то из первинок Маяковского в печати. Тогда этот человек не только не понимал своего будущего бога, но и эту печатную новинку показал мне со смехом и возмущением, как заведомо бездарную бессмыслицу. А мне стихи понравились до

чрезвычайности. Это были первые ярчайшие его опыты, которые потом вошли в сборник «Простое как мычание».

Теперь, в кофейне, их автор понравился мне не меньше. Передо мной сидел красивый мрачного вида юноша с басом прото-диакона и кулаком боксера, неистощимо, убийственно остроумный, нечто среднее между мифическим героем Александра Грина и испанским тореадором.

Сразу угадывалось, что если он и красив, и остроумен, и талантлив и, может быть, архиталантлив, — это не главное в нем, а главное — железная внутренняя выдержка, какие-то заветы или устои благородства, чувство долга, по которому он не позволял себе быть другим, менее красивым, менее остроумным, менее талантливым.

И мне сразу его решительность и взлохмаченная грива, которую он ерошил всей пятерней, напомнили сводный образ молодого террориста-подпольщика из Достоевского, из его младших провинциальных персонажей.

Провинция не всегда отставала от столиц во вред себе. Иногда, в период упадка главных центров, глухие углы спасала задержавшаяся в них благодетельная старина. Так в царство танго и скетингрингов Маяковский вывез из глухого закавказского лесничества, где он родился, убеждение, в захолустьи еще незыблемое, что просвещение в России может быть только революционным.

Природные внешние данные молодой человек чудесно дополнял художественным беспорядком, который он напускал на себя, грубоватой и небрежной промоздкостью души и фигуры и бунтарскими чертами богемы, в которые он с таким вкусом драпировался и играл. Вкус у него был такой зрелости и выношенности, что казался старше его самого. Ему было двадцать два года, а его вкусу, так сказать, — 122*).

10

Я очень любил раннюю лирику Маяковского. На фоне тогдашнего паясничанья ее серьезность, тяжелая, грозная, жалующаяся была так необычна. Это была поэзия мастерски вылепленная, горделивая, демоническая и в то же время безмерно обреченная, гибнущая, почти зовущая на помощь.

* Две последних строки 9-ой главы отсутствуют в заграничных изданиях «Автобиографического очерка». — Ред.

«Время! молю:
 Хоть ты слепой богомаз,
 лик намалой мой
 в божницу уродца века!
 Я одинок, как последний глаз
 у идущего к слепым человека!»

Время послушалось и сделало, о чем он просил. Лик его вписан в божницу века. Но чем надо было обладать, чтобы это увидеть и угадать.

Или он говорит:

«Вам ли понять,
 почему я,
 спокойный,
 насмешек прозою,
 душу на блюде несу
 к обеду прядущих лет...»

Нельзя отделаться от литургических параллелей. «Да молчит всякая плоть человека и да стоит со страхом и трепетом, ничтоже земное в себе да помышляет. Царь бо царствующих и Господь господствующих приходит заклатися и датися в снедь верным».

В отличие от классиков, которым был важен смысл гимнов и молитв, от Пушкина, в «Отцах пустынноиках» пересказывавшего Ефрема Сирина, и от Алексея Толстого, перекладывавшего поребальные самогласны Дамаскина стихами, Блоку, Маяковскому и Есенину куски церковных распевов и чтений были дороги в их буквальности, как отрывки живого быта, наряду с улицей, домом и любимыми словами разговорной речи.

Эти залежи древнего творчества подсказывали Маяковскому пародическое построение его поэм. У него множество аналогий с каноническими представлениями, скрытых и подчеркнутых. Они призывали к опромности, требовали сильных рук и воспитывали смелость поэта.

Очень хорошо, что Маяковский и Есенин не обошли того, что знали с детства, что они подняли эти привычные пласты, воспользовались заключенной в них красотой и не оставили ее под спудом.

11

Когда я узнал Маяковского короче, у нас с ним обнаружались непредвиденные технические совпадения, сходное построение образов, сходство рифмовки. Я любил красоту и удачу его движений. Мне лучшего не требовалось. Чтобы не повторять его и не казаться его подражателем, я стал подавлять в себе задатки, с ним перекликавшиеся, героический тон, который в моем случае был бы фальшив, и стремления к эффектам. Это сузило мою манеру и ее очистило.

У Маяковского были соседи. Он был в поэзии не одинок, он не был в пустыне. На эстраде до революции соперником его был Игорь Северянин, на арене народной революции и в сердцах людей — Сергей Есенин.

Северянин повелевал концертными залами и делал, по цеховой терминологии артистов сцены, полные сборы с аншлагами. Он распевал свои стихи на два-три популярных мотива из французских опер, и это не впадало в пошлость и не оскорбляло слуха.

Его неразвитость, безвкусица и пошлые словоновшества, в соединении с его завидно чистой, свободно лившейся поэтической дикцией, создали особый странный жанр, представляющий, под покровом банальности, запоздалый приход тургеневщины в поэзию.

Со времени Кольцова земля русская не производила ничего более коренного, естественного, уместного и родового, чем Сергей Есенин, подарив его времени с бесподобной свободой и не отяжелив подарка стопудовой народнической старательностью. Вместе с тем Есенин был живым, бьющимся комком той артистичности, которую, вслед за Пушкиным, мы зовем высшим Моцартовским началом, Моцартовской стихией.

Есенин к жизни своей отнесся, как к сказке. Он, Иван-царевичем на сером волке, перелетел океан и, как жар-птицу, поймал за хвост Айседору Дункан. Он и стихи свои писал сказочными способами, то как из карт раскладывая пасьянсы из слов, то записывая их кровью сердца. Самое драгоценное в нем — образ родной природы, лесной, среднерусской, рязанской, переданной с ошеломляющей свежестью, как она далась ему в детстве.

По сравнению с Есениным дар Маяковского тяжелее и грубее, но зато, может быть, глубже и обширнее. Место есенинской

природы у него занимает лабиринт нынешнего большого города, где заблудилась и нравственно запуталась одинокая современная душа, драматические положения которой, страстные и нечеловеческие, он рисует.

12

Как я уже сказал, нашу близость преувеличивали. Однажды во время обострения наших разногласий, у Асеева, где мы с ним объяснялись, он с обычным юмором так определил наше несходство: «Ну, что же. Мы действительно разные. Вы любите молнию в небе, а я в электрическом утюге».

Я не понимал его пропагандистского усердия, внедрения себя и товарищей силою в общественном сознании, компанейства, артельщины, подчинения голосу злободневности.

Еще непостижимее мне был журнал «Леф», во главе которого он стоял, состав участников и система идей, которые в нем защищались. Единственным последовательным и честным в этом кружке отрицателей был Сергей Третьяков, доводивший свое отрицание до естественного вывода. Вместе с Платоном, Третьяков полагал, что искусству нет места в молодом социалистическом государстве или, во всяком случае, в момент его зарождения. А то, испорченное поправками, сообразными времени, нетворческое, ремесленное лжеискусство, которое процветало в «Лефе», не стоило затрачиваемых забот и трудов, и им легко было пожертвовать.

За вычетом предсмертного и бессмертного документа «Во весь голос», позднейший Маяковский, начиная с «Мистерии-Буфф», недоступен мне. До меня не доходят эти неуклюжие зарифмованные прописи, эта изощренная бессодержательность, эти общие места и избитые истины, изложенные так искусственно, запутанно и неостроумно. Это, на мой взгляд, Маяковский никакой, несуществующий. И удивительно, что никакой Маяковский стал считаться революционным.

Но по ошибке нас считали друзьями и, например, Есенин, в период недовольства имажинизмом, просил меня помирить и свести его с Маяковским, полагая, что я наиболее подхожу для этой цели.

Хотя с Маяковским мы были на вы, а с Есениным на ты, мои встречи с последним были еще реже. Их можно перечислить по

пальцам, и они всегда кончались неистовствами. То, обливаясь слезами, мы клялись друг другу в верности, то завязывали драки до крови, и нас силою разнимали и растаскивали посторонние.

13

В последние годы жизни Маяковского, когда не стало поэзии, ничьей, ни его собственной, ни кого бы то ни было другого, когда повесился Есенин, когда, скажем проще, прекратилась литература, потому что ведь и начало «Тихого Дона» было поэзией, и начало деятельности Пильняка и Бабеля, Федина и Вс. Иванова, в эти годы Асеев, отличный товарищ, умный, талантливый, внутренне свободный и ничем не ослепленный, был ему близким по направлению другом и главною опорой.

Я же окончательно отошел от него. Я порвал с Маяковским вот по какому поводу. Несмотря на мои заявления о выходе из состава сотрудников «Лефа» и о непринадлежности к их кругу, мое имя продолжали печатать в списке участников. Я написал Маяковскому резкое письмо, которое должно было взорвать его.

Еще раньше, в годы, когда я еще находился под обаянием его огня, внутренней силы и его огромных творческих прав и возможностей, а он платил мне ответной теплотой, я сделал ему надпись на «Сестре моей жизни» с такими, среди прочих, строками:

«Вы заняты нашим балансом,
Трагедией ВСНХ,
Вы, певший Летучим Голландцем
Над краем любого стиха.
Я знаю, ваш путь неподделен,
Но как вас могло занести
Под своды таких богаделен
На искреннем вашем пути?»

14

Были две знаменитых фразы о времени. Что жить стало лучше, жить стало веселее, и что Маяковский был и оставался лучшим и талантливейшим поэтом эпохи. За вторую фразу я личным письмом благодарил автора этих слов, потому что они избав-

ляли меня от раздувания моего значения, которому я стал подвергаться в середине тридцатых годов, к порою Съезда писателей. Я люблю свою жизнь и доволен ею. Я не нуждаюсь в ее дополнительной позолоте. Жизни вне тайны и незаметности, жизни в зеркальном блеске выставочной витрины я не мыслю.

Маяковского стали вводить принудительно, как картофель при Екатерине. Это было его второй смертью. В ней он неповинен.

Ю. Стефанов

ПЕСНЯ О ПАУКЕ

1

О, из века в век
Одно и то же:
Человек,
Снежная и угольная кожа,
Смотрит в небо,
Смотрит в море,
Ищет хлеба,
Бога молит.

Дождь идет,
Бог дождит.
Бой ревет,
Вождь вождит.

2

Ах, ни в микроскопы, ни в бинокли,
Оглянитесь около — мир прост:
Или под дождем луга намокли,
Или смерть вещает пляски звезд.

Или звонки брызги солнца в лужах,
Или солнце спряталось во тьму.
Грозы неизбежны потому,
Что всеильно кваканье лягушек.

3

Что там в небе — Сириус, Вега ли,
Маяками неведомой суши?
О, закройте раздумья веки,
Ваши компасы, ваши души!

И, как гончая след олений,
Запах тайны ищите в пыли,
Чтоб разбились о камни сомнений
Ваших тел корабли.

4

На дороги, реки, деревни
С оборотных сторон взгляните:
Это векторность нитей времени
И сколярность пространства нитей.

И забудьте про все на свете, —
Больше не на что в нем смотреть
Тем, кто видел, как нити эти
Образуют паучью сеть.

5

О, одетые в шелк и холстину,
Посмотрите сквозь облака
На чудовищную паутину,
На могучего паука.

Он незримо царит в сердцеvine
Паутины, сплетенной для нас,
И сияет, как хвост павлиний,
Миллион его звездных глаз.

Правят миром ни Бог, ни случай,
Ни ученые, ни глупцы, —
Только в этой сети паучьей
Все начала и все концы.

6

О, покрытое розовой пеной,
Ты ужасно, как черный бред,
Ты косматого, как сотни комет,
Восьминогое солнце вселенной.

Ты играешь, как желтыми листьями,
Нашим разумом, силами нашими,
Вор, создавший для мира истину,
И создатель, ее украшавший.

7

О демон Врубеля,
О Прометей,
О руки грубые,
Меча лютей.

Лежат надгробия
Среди травы,
Они попробовали,
Они мертвы.

Истлели мускулы
Могучих рук.
Глазами узкими
Глядит паук.

8

Я не знаю, что будет,
О прошлом не плачу.
Я так молод —
Мне только пятьсот тысяч лет.
Я отдаю свою жизнь
С этой песней впридачу,
За одно только слово:
«Да» или «нет».
Мне от этой загадки

Ночами не спится,
Беспокойство меня
Уплетает с утра.
О, ответьте мне, камни,
Отзовитесь, ветра!

Нет,
Молчание — мира извечный обычай.
Не дал слова Создатель
Камням и траве,
И, как черные вороны,
Чуя добычу,
Кружат новые мысли
В моей голове.

Бог дрожит,
Вождь вождит,
Ищут хлеба скитальцы,
Время льется беспцельно,
Как струйка песка.
И закушены губы,
И стиснуты пальцы,
И во взгляде все та же
Немая тоска.

* *
*

Рушатся цепи прогресса
Под ведром черных тревог,
Чашу зари перевесил
Мрак первобытных эпох.

О, сколько ты, тьма, изломала
Взлетов борьбы и надежд:
Сожженная Гватемала,
Разрушенный Будапешт.

Земля, ты желала мира,
Так вот получай свой мир:
Военные будни Каира,
В огне перестрелок Алжир.

И вновь полыхают прозы
Предвестьем последней прозы
По бухтам зеленой Формозы,
По заводям древней Янцзы.

А дальше, в прохоте бури,
Смеется сквозь пламя и снег
Гориллой в звериной шкуре
Грядущий каменный век.

Его волосатая прима
И жуткая глаз глубина
Волной водородного взрыва
Над пропастью лет рождена.

Шагают, шагают солдаты.
Война — от копья до ракет.
Земля, для чего же тогда ты
Растила нас тысячи лет.

История мутным течением
Смывает для целей иных
Полотна твоих Боттичелли
И музыку Бородиных

И светлые даты конгрессов
И годы военных тревог.
И рушатся цепи прогресса
Во мрак первобытных эпох.

ЦАРЕВНА-ВОЛХОВА

Л. С.

Твои ли руки, губы ли,
Иль нет — мне всё равно.
Ты помнишь, есть у Врубеля
Такое полотно:
Закатом бледнорозовым
Обрызгана трава,
Стоит над Ильмень-озером
Царевна Волхова.
Не топтаны, не кошены
Над озером луга.
Горят в ее кокошнике
Литые жемчуга.
Она такая ж самая,
Как ты вчера,
И ждет она из-за моря
Лихого гусляра.
А он с другою встретится,
Найдет покой.
Ах, быть тебе не девицей,
А быть рекой.
За лесом крики лешего
Грозят бедой.
Ты конного и пешего
Напой водой.
Кто только тебе выдумал
Удел такой:
Не быть ковшом любимому,
А быть рекой?!

В. Ковшин

* *
*

Я хочу туда, где цветет,
Где неслышно расгудят рябины,
Где трагически-яркий восход
Зажигает солному овинов.

В этих тихих плетениях крыш
Распустился розовый замок.
И крылом летучая мышь
Последний день
Указала.

* *
*

Сломали клоуну ноги
Каменные ступени
И через нижние сени
Вынесли в пыль дороги.

Клоун молился и плакал
Глазами в окнах у крыши,
Кап! и на пыль неслышно
Пала картонная капля.

Впивался лицом закрытым
В пепел пустой дороги.
Чьи-то широкие дроты
Дрожали, и били копыта.

Листали страницы былины
После коней и гомона.
Вот — маски его половины,
Его — печального клоуна.

* *
*

Почему колонны круглы
И вид их беспомощно кроток?
Отчего они прячут углы
Кристаллических их решеток?

Кто их так округлить сумел,
Обломал их углы и лица?
Что он этим сказать хотел
Пролетающей птице?

* *
*

Осколок черного дома
Оформил пустой переулок.
Я засыпаю снова —
В странный вхожу закоулок.

Котенок плачет про маму,
Кто-то мочится в стену,
Кто-то взрезает вену,
Смотрит в дыру нагана.

Я вошел в чужой переулок.
Захлопнулись двери мира.
Черная кошка входила
В пустой переулок.

* *
*

Не слышал я звон монет,
Внимал я укору зорь
И через дальний свет
Заметил чужой узор.

И люди с тоской на плечах
Вместе вскрикнули вдруг.
Новый голос звучал.
Закончился страшный круг.

* *
*

Вы видите, плохие люди,
Как из остатков темноты
Мне поднесли кроты на блюде
Осколки голубой мечты.

Я помню золотые крепи
И где-то прохот чьих-то вод,
И пальцы тонкие, как цепи,
Стянувшие затихший рот.

Уже улыбка не кривила,
Уже светило мне в лицо,
И стало мне не так уныло
Входить на белое крыльцо.

Я отдыхал, я был несмелым.
Но вот идут, идут кроты,
Несут, внесли на блюде белом
Реальность бешеной мечты.

* * *

Мы с тобой почти калеки,
Мы с тобой почти друзья.
Ледоходные мутные реки
Не заманят, не соблазнят.

Мы с тобою почти еще дети,
И вот снова нас за нос ведут,
Люди нам ничего не дадут.

Да и сам я совсем несмелый,
Всё брожу по кошмару дней
В этой снежной пустыне белой;
А бродить-то всё больше больней.

Я ищу — кто бы робко и нежно
Мне снова струну натянул
И в будущей драке бешеной
Мне руку назад оттянул.

Не хочу, не хочу я безумия,
Не хочу я о крови кричать.
Недаром шепнула мне мумия:
«Человеки! лучше молчать!»

* *
*

Мне говорили «не надо»,
Не надо много пить,
Мне говорили — мне надо
Кого-то еще полюбить.

Кого же вы кинете мне в любовь,
Кем успокоите вы меня?
Может вот эту — изломана бровь,
Странная дрожь в имени.

Мне надоело чувств мять,
Оспочертели трюфельки.
Хочу вот так вот просто обнять
Чьи-то потертые туфельки.

Тошнит меня от похоти Мопассана,
Не для меня Флоберовский порок.
Потому и плюнул я так рано
На ваш поучительный урок.

Пусть мне ноги собьет мостовая булыжная,
И с моста тело я киню рано.
Зато буду знать, что сам выпил я,
Что в нерве своя, а не чужая рана.

Обрадован я хохотом оглушительно умным,
В кельи ваши я больше не вхож.
Лучше вправду я буду безумным,
Только б на вас я не стал похож.

Наскребывают люди счастье,
Люди живут надеждой.
Так нищий в рваной одежде
Просит участья.

Наскребываются квартиры,
Наскребываются деньжата,
Страхом горло зажато
В весельи вашего пира.

И, посмеявшись немного,
Мы снова ищем и ходим,
Пока не проляжет дорога
К самым последним сходням.

Но у последнего трапа
Не надо ничьих рыданий,
Иначе косматая лапа
Наши глотки раздавит,

Раздавит еще на дороге,
Не пожалеет обмана,
Повиснут тяжелые ноги
Где-то в торле нагана.

И одуревшие люди
Будут стрелять и пить,
Если мы плакать будем,
Если устанем жить.

* *
*

В пыльных окнах завода
Луна шлифует небо,
Падает на землю.
На мою землю.

В тройных тюремных окнах
Луна шлифует небо,
Падает на землю.
На чью-то землю.

На окнах завода нет решеток,
На них простая деревянная рама.
Но за окнами луна шлифует небо,
Падает на чью-то землю.



Было темно и страшно,
Свечи уже догорели.
В холодной высокой башне
Черные птицы пели.

Стояла ты в красном платье,
В красном, как цвет моей крови,
Я чуял твоё объятие,
Я белые видел ладони.

В дрожи свечи погасающей
Ужасы теней губя,
В блике слезы высыхающей
Всё ещё вижу тебя.



Хорошая ты,
Как солнечный дождь,
И даже добрее стала.
Сквозь проводов
Ледяную дрожь
Словами меня ласкала.
Узор,
Что в окна вбили морозы,
И тот растоплен
Теплом жилищ.
И даже сосулек
Западали слезы
С холодных ресниц
Крыш.
Я знаю, —
То не весенние слезы,
Не солнцем пьяная то вода.
Знаю, будут еще морозы,
Страшные холода.
Знаю,
Будет тем больше ранений,
Тем диче будет ужас людей,
Чем больше теперь
Вдохнет испарений
Теплый бред тополей.

* *
*

Мне говорят, что молод,
А я ощущаю силы,
Я в этот каменный холод
Касаюсь косых усилий.

Не ищю божества в кумире,
Не плачу от страшных строчек.
И, размышляя о мире,
Не ставлю глубоких точек.

Виснет в ухе сережка,
Вижу я тени роз,
И пусть моя узкая стежка
Случайно скользнет под откос.

Мне все еще шепчут «люли»,
Я строки шепчу из Корана,
Я прост, как доньшко пули,
Как ножевая рана.



После забытой речи
Тихо качнулись качели,
И на худые плечи
Белые руки взлетели.

Дрогнули плечи бога
В круге, очерченном сразу.
Тайны древнего рога
Шли в безвременный разум.

И птицы с хвостами из солнца
Сели на вечные плечи.
«Заплаканное оконце».
Где вы, слова человечьи?

И просто они молчали,
Просто молчали без песен,
И громко цикады трещали
В полях, похожих на плесень.

Мы попрощались и встали на разных щеках улицы. Мы были связаны и чувствовали себя неловко и туго, как тачка. Прокатывалась бочка милиционера. За мной подсматривала парикмахерская. Она была вписана в мясной магазин. Улица была перегороджена нами. Голова стала клубком котенка. Когда я просыпался, то был пьян. Она смеялась над пьяными, я завидовал им. Пьяный троллейбус, пьяная лошадь, пьяный кучер. Одна она презва и стоит прямо и смотрит прямо в глаза. Тогда я ненавижу ее и, если бы мог, то перескочил бы улицу и разорвал бы ей рот грязными ногтями. Я улыбаюсь ей многообещающе. Она, конечно, чистая. Надо полагать и надеяться. Она в пальто и отворачивается от моих откровенных улыбок. Она еще гордая, а я просто устал. Я знаю себя. И ее. И всех. Она убегает от меня вдоль улицы. Она стоит под дождем и ждет троллейбуса. Ага, она тоже устала бегать. А, может быть, поняла, что некуда. Я всё смотрю на нее, а она всё кружится вокруг своей оси. Бычьи головы из мясного магазина удивились ее вращению. Прохожие стали оглядываться и обходить. Ее пальто начало расстегиваться сверху, а

шапочку она сняла, чтобы не замочил дождь. Когда пальто расстегнулось, начало расстегиваться платье. А дальше ничего уже не надо было расстегивать, и ветер, дуя в открытое пространство, обнажал ее тело. Люди, вместо того, чтобы обходить, как раньше, стали собираться в кружок и смеяться. Подошел мой троллейбус. Я сел в него и только там расплакался.

Ноябрь, 1960 год.

С. Красовицкий

ИМПРОВИЗАЦИЯ

Ни колонн,
Ни зала,
Где рук роям
Разбиться в ударном плесе...
На краю леса
Стоял рояль —
В доме
На краю леса.
Ложились сумерки.
Был вечер тих.
Раздумье и тоска...
Я видел,
Как ты бросила их
На бело-черный оскал...
Катался по клавишам слезный ком,
И лес шевелился во сне,
И было обоим
Смотреть нелегко,
Как лепится на стекла снег.
На лбу ломалась
Черная прядь.
И резкими —
Тени щек.
У губ застыло немного упрямств,
Немного чего-то еще...

Дрожали свечи испугом глаз.
А тени вступали в игру.
И были страшны
От угла до угла
Разбросанные кисти рук.
Постукивал дятел
В обрывках нот.
Звенела жара пустынь.
Но вышло правдою,
Все равно, что выдумала ты.

* *
*

И кончено барсучье лето,
Напоминавшее весну.
И песня зябликов под ветром
Сгорела,
Как бикфордов шнур.

Я знаю —
Жить необходимо
И жечь дрова,
И что тогда
Наупро будет кромка дыма
Еще острей,
Чем кромка льда.

Лиса придет по хрусту наста
И станет, лап не замочив,
Смотреть на крохотное счастье
Горящей под водой свечи.

А холм
Под лесом и под ветром,
Куда ведут ее следы —
Белел, как череп беглой выдры,
Не дотянувшей до воды.

* *
*

О, весна!
 Это ты, моя дорогая.
 Будем жить с тобой, песни слагая,
 И друг другу дарить цветы.
 Вот цветок золотистой головки,
 Вот цветок магазинной обновки,
 Хризантемы неяркий росток
 И зеленый военный цветок.
 Говорит — хотите про это:
 Про несчастье военного лета,
 Про цветы обожженных рук...
 Но я слышу железный звук —
 Вырос черный цветок пистолета.
 И когда подойдет мне срок,
 Как любимой не всякий любовник,
 Замечательный красный шиповник
 Приколю я себе на висок.

* *
*

Отражаясь в собственном ботинке,
 Я стою на грани тротуара.
 Дождь.
 Моя нога в суплинке,
 Как царица черная Тамара.
 Зонтик раскрывается гранатой,
 Вырастает водородный прибор.
 В пар душа —
 (Как тяжела утрата)
 В прызь кольцо —
 Должно быть я погиб.
 Но как странно —
 Там, где я всё меньше,
 Где тускнеет черная слюда,
 Видеть самого себя умершим
 В собственном ботинке иногда.



Птичьи крики детей на снегу. Это миг,
Этот день, обрамленный в оконную прорезь,
И тускнеет аллея,
Вдалеке прогремят
На колесной жестянке поставленный поезд.

Снеговая дорога, покатая влево,
Как излом ее пальцев
Или мертвый карниз,
И чучело маленькой птицы подвешено вниз.

На дереве черном, как буква У,
И плоский коричневый дом,
Как еще не свернувшийся лист,
И кажется, сказано чучелам этим,
Что вот она — грусть о былом —
Спутница жизни и смерти.

В БРОД

Там били кони
В плеск заката.
И пили там,
Где пляшет пламень.
Но крался вечер с крыши покатых.
И день уходит только снами.

Кто любит клёкот лебедей
Пред тем,
Как вечеру состариться —
Увидит в плянцевой воде —
У солнца
Ослабели пальцы.

А были —
Сжатые в кулак.
Но только на день это надо.
У нас —
Горящие до тла
Пока что пламенные взгляды.
И будто Цезарь на скаку,
Мы тоже брали Рубиконы.
И оставляли далеко
Лесов вечернее ку-ку.

Кого любил —
Грусти о ней.
Лоускут заката — наше знамя.
Под галчий клик,
Под плеск коней, —
И день уходит только с нами.

В. Хромов

*Босая женщина горда
Ногами щупать города.*

Заплыли жиром складки дома,
Карнизов ветхое чутье.
То выкидьш или потомок
Оттаял каменным судьей?

За ним толпа остатков пищи.
Звонок, продавленный в кадьяк.
И голубые пепелища
Стояли, высунув язык.

Собачьим ртом дышали печи
И завихрения кавычки,
Похожие на конечности,
Летели из-под электрички.

Казалось ей: роится ветер
И пеплом головы пыля
Лицо, проплывшее в кювете
Покойником на костылях.



Колокольная внахлест отсчитала число,
Створки окон в лесу колобродят,
И навстречу движению на небосклон
Рамы тянут шальные поводья.

Накануне следами порезанных губ
Тают кромки холодной зари.
Голубые дожди по неясному признаку
Претворяются в монастыри.

От ножей перед праздником стало светло,
Тень колодцами снег кособочит.
И повисли пискливые гнезда ветров
В таратайке укусов обочин.



Тем не менее темнеет,
Кромки елей еле живы,
И в прохладном дне немея,
Засучивают сучья пряжу ивы.

Значит вечер наскворечен.
Слезам росы упасть на камень,
Но не будет сумрак вечен,
А серьи на самках замками.

Что есть мочи промолчит
На вратах деревянная курица.
Смелый всадник тебя умчит,
Чтоб зарею набедокуриться.

Когда лучи его прогонят
И пастухов очеловечат,
Увидят туманные взоры коня,
Как на солнце цыпленок просвечивает.



Пустынный череп космогона
В трамвайной музыке остыл.
Вознес господние знамена
Волоколамский монастырь.

Вокруг леса дышали ветошь
И кровохарканье Христа.
Под изваянием расвета
Могилой пахнет борозда.

Пьянчуги, симаны-гулиданы
Поодаль сушат падаль брюк.
И осень наливает гимны
В тугие пруди клюкв.

Л. Чертков

Солнце — как сохнет калинный цвет
Да лебедь дорога.

А пойду! пойду по молочной росе,
По кисельные ровные берега.

За морями же земли великие есть,
А путь туда по версте до версты,
Через поле вдоль, да и там не сесть,
Наждаком по душе заскребут кусты.

И солдаткой рябина прядет пыль,
Тараканы спят и плетни молчат,
И не пискнет дверь, не дохнет пустыррь.
Ты сюда забрел, да не в свой листопад.

А и глянь на дороге, залитой мукой,
Человек и тебе незнаком.
Он маячит в рассвет деревянной рукой
И пахнет чужим табаком.

Там не за горою страна Свят-Свят.
Там раздолье, грех да и тишь по утрам,
Но куда ни плюнь, всё ведет назад,
И малинник туто кивнет полям.

Пусть пропашет стон полосу беды,
Ночь — она соверет и луна уйдет.
Поперек тебя струна борозды,
Лучше б тебе не заходить вперед.

Лучше по утрам не раздернуть штор.
А заснуть еще да и встать иным,
Лучше синева в облаков раствор
И над крышей снега розовый дым.

А. Петров

Эх, романтика, синий дым,
Обгоревшее сердце Данки...
Сколько крови, сколько воды
Утекло в подземелье
Лубянки.

Эх, романтика, синий дым...
В Будапеште — советские танки.
Сколько крови, сколько воды
Утекло в подземелье
Лубянки.

Эх, романтика, синий дым,
Наши души пощли на портянки.
Сколько крови, сколько воды
Утекло в подземелье
Лубянки.

М. Мерцалов

Люди Африки — черные люди,
Они говорят: нужно черное счастье.
Люди Азии — желтые люди,
Они знают: лучше желтое счастье.
Люди Америки — белые люди,
Они думают: только белое счастье.
Люди России — русские люди,
Они молчат — это русское счастье.



Слова, слова — безликое число
Высоких слов праздничного накала;
Я перестал бояться этих слов,
За них и мной заплачено немало.

Слова, слова, — где мера этих слов?
Какое мне дано на стих и правду право?
За них пытали ложью и отравой.
За них,
За горстку звонких слов,
За чьи-то отблески, какие-то оттенки
Пускали жизнь свою на слом,
Сушили сердце в тюрьмах и застенках.

Слова, слова, — нахмуренно и зло
Лубянского зияние подвалов,
Я перестал бояться этих слов,
За них и мной заплачено немало.

Н. Нор

МОИМ ДРУЗЬЯМ

Нет, не нам разряжать пистолеты
В середину зеленых колонн!
Мы для этого слишком поэты,
А противник наш слишком силен.
Нет, не в нас возродится Вандея
В тот гудящий, решительный час!
Мы ведь больше по части идеи,
А дубина — она не для нас.
Нет, не нам поднимать пистолеты!
Но для самых ответственных дат
Создавала эпоха поэтов,
А они создавали солдат.



Если вдруг за мною явитесь вы,
Чтоб швырнуть в железную клетку,
Я из мира уйду, не склонив головы,
И о сделанном не стану жалеть.
Я шагну в холодную пустоту
Без мольбы о пощаде, без жалоб и слез
И с собою туда заберу мечту,
Ту, что много лет я с собою нес.
И вдали от друзей, среди толстых стен
Мы дождемся с ней свободы дня.
Мне не страшен ваш многолетний плен,
Не убив ее, не убить меня.

1959 г.

Нас очень мало. Мы очень слабы.
И вы смеетесь над нами нагло.
Вы нам прозигте дорогой дальней,
Железной клетью, толпы презреньем
И говорите нам: «отрекигтесь.
Согните спины. В прехах покаягтесь.
И пойте славу пустой похлебки».

Пускай нас мало! Пускай мы слабы!
Но мы не будем похлебки славить!
Давно тошнит нас от той похлебки.
Нужна нам пища для дум и мыслей.
Нужна нам воля. Нужна нам радость.
И вера в разум, в прогресс, в движение.

Пускай нас мало! Пускай мы слабы!
Но постепенно нас станет больше.
И мы подготчим гнилые доски
Харчевни вашей, где мрак и сырость,
Где нету места для вкусной пищи,
Где соль и перец внушают ужас,
Где под запретом горчица с хреном.

Пускай нас мало!

Мы ждем! Мы верим!

Пусть мы погибнем!

Наш час настанет!



Нам не дано поездить по Европе.
Нам не дано увидеть белый свет.
Мы знания черпаем из утопий.
И строим мир из сплетен и газет.

А. Шуклин**ЛЮДИ, СЛУШАЙТЕ!***(Поэма)*

Люди, слушайте!
Люди, слушайте!
Это говорю вам я.

Люди, слушайте!
Говорит Москва,
Говорит Москва.

Со Спасской точно
Удары сочные,
И площадь темная
Стоит объемная,
Стоит Красная
Площадь темная,
С названием красным,
Площадь Красная.

Я думал раньше,
А где же краска?
Я думал раньше,
А где же кровь?
Сапожная вакса,
Я думал раньше,
Стерла краску,
Втоптала кровь.
Нету краски!
Нету крови!
Не слушайте, люди!
Не слушайте, люди!
На площади маска,
Сапожная вакса,
Всевышнего ласка,
Всеобщая таска.
Мы, самые полнокровные,

Мы, самые краснокровные,
Потому мы коровные,
Потому мы погромные!
Нам цари горло резали,
Горло резали, не дорезали.
Перелезли мы во седой во Кремль.
И издали указ обо всех земель.
Стали править мы,
Да покрикивать.
Стали строить мы,
Да побрякивать.
Сказки новые
Стали сказывать,
Песни новые
Распевать.

Но осталось то ж,
Что и было ли,
Что ж, что сыто ти,
Что обуто ти?
Где сейчас не так,
Там бунт,
Аль народ
Дурак.

.....
Довольно, хватит!
Товарищи в Советах,
Вспомните семнадцатый,
Забьли, что ли?
Сегодня сплошь
Она в поэтах,
Шестидесятая Россия!

.....
Спит Красная,
Снег выпал,
Первый снег,
А люди-то спят.
Спит Красная,
Раздался выстрел, —

Один человек,
Сто пятьдесят...
Спит Красная,
Снег выпал,
Первый снег,
А люди-то
Спят.
Может, разбудить?
— Смотрите, слушайте!
Снег выпал и человек...
Люди, слушайте!
Люди, слушайте!
— Нет, нет, нет.

Знаю, не хотите,
Знаю, тошно.
— Довольно! Хватит!
— Замолчи, ты!

Знаю, не хотите,
Знаю, тошно,
Не надо, поймите,
Иначе и ты...

Спит Красная,
Снег выпал,
А люди-то спят, спят.

Снег-то красный,
В России красной,
На площади Красной
Снег выпал красный,
И люди видят, не спят.

Я думал раньше,
А где же краска?
Я думал раньше,
А где же кровь?

Сапожная вакса,
Я думал раньше,
Стерла краску,
Втоптала кровь.

Люди, слушайте!
Люди, слушайте!
Теперь поймите
Все до конца.

Люди, слушайте!
Люди, слушайте!
Говорит Москва.
Говорит Москва.

ОРАНЖЕРЕЯ

Оранжерея, декабрь месяц;
Цвет орхидей, на стенах плесень.
И воздух пряный —
Дух оловянный,
Скорей — скорей!
Смотреть не смей, —
В оранжерее
Стоит купель.
И по ранжиру
Стоят транжиры —
Запльвывший жиром
Их цвет инжирный.
Стоят, провожая! —
Нарцисс опадает.
Глядят кровожадно —
Нарцисс умирает.

Наверно, розы,
И те краснели
В оранжерее,
В оранжерее,
Наверное баба —
Ромашка
Простая,
Откуда взялась,
Откуда такая?
Наверное тоже,
Наверное слезы,
И у мимозы —
Цветок на морозе.

Но это же розы
Цветут, жирея,
В оранжерее,
В оранжерее,
По-прежнему рдея,
И не краснея,
Розы в постели,
Розы в апреле,
Розы жирели,
Розы нагтели,

В оранжерее,
В оранжерее!

В оранжерее:
— Не нужно красных,
Не нужно белых,
Не нужно разных
В оранжереях.
Хотим мы серых
И голубых
 На ветках синих,
 Про всё забыв,

Хотим мы слушать
Цвет орхидеи.
ОРАНЖЕРЕЯ! —
Для прохиндеев,
Для проходимцев,
Для продавцов
Роз, ананасов,
Жизней и слов.
Оранжерея, — больше нет мочи!
Я не жалею, Черные ночи,
Черные свечи,
Цвет орхидеи,
Я не успею, красные розы,
Помните слезы!
Ранние слезы!

ЗВУКИ

1

Не тяни
За эти нити.
Тени тонут в пустоте.
Небо в нимбах,
Небо мнимо,
Мы не эти
и не те.
Мы отгенок,
Мы иные,
Мы предчувствия,
предтеча.
К вам прямые,
К вам земные
Наши мысли,
Наши речи.

2

Да,
человек. Его лечат
Новь и вонь.

Кинг — кинг,
Факты выткав,
Убери репу.

3

Вопль догоним,
Хлоп в ладони.
А огонь в агонии,
Кони в пене,
Пенье,
Пони,
Какафония.

4

Миру рифм
Мера свинца.
Венок к лире
Мертвеца.
От детей и от отца
Лац-ца дриц-ца
Ла-ца-ца
Ца-ца-ца-ца.

5

Поднимайтесь,
Поднимите
Все на митинг,
Всех на митинг.

6

Довольно из торгов
Историю
 делать.
Восторгом сомнительным
 землю обув,
Мы призываеы переделать
 записи главбуха.
Мы равноправные
 правнуки
Семнадцатого года,
Мы приправа
 к правде,
Которую уродуют.
Конь страсти
В контрасты.
Брось свободный разум века,
Свергнем веру
В изувера,
Веру в сверхчеловека.

7

У меня температура
В миллионы солнц.
На меня фасоль
набросила
Белое лассо.
СОС СОС СОС СОС
Не целуй меня в засос.

* *
*

В голубые одежды надежды
Обрядила небо весна.

А злой человечек снежный
Не хочет шубы снять,
Закрыв ея землю от солнца,
Метелью, морозом страшает.
Но хватит.

Но он теперь царь,
Его только ночь защищает.

А ноги

У ночи

Короче.

Тьма против света

не сила.

Проклятья старик бормочет,
Уносят его на носилках.

Ждет его смерть,

Провожает смех.

А птицы одержимые

Весну встречают гимнами.

ТВОРЧЕСТВО

В. Калугин

ПЕСНЯ О ПТИЦЕ

Человек поймал птицу,
человек поймал птицу —
невиданную птицу поймал человек.

— Я убью тебя, — сказал человек.

Еще прекраснее стала птица.

— Я убью тебя, — сказал человек.

Но еще прекраснее стала птица.

— Я убил тебя! — воскликнул человек.

Он видел прекрасное!

МОЛИТВА МОРЯ

Ласкою нежа берег,
море молило свободу.

Гулко дыша и захлебываясь
пенной собственной злости,
море чуть-чуть отодвинуть хотело берег.

И снова,
нежась о берег,
море собой торговало.

Берег был мертв
уже тысячи лет.

* * *

Солнце раскололось на миллионы маленьких частиц и, искрясь, упало на землю.

Мир погрузился в ночь.

Люди воюют за осколки света.

Я спрятал в сердце маленькую частицу солнца.

Мне тепло.

НЕВИДИМКА

Я полудремаю, полуписал за письменным столом, как вдруг что-то рухнуло за моей спиной.

Это был труп человека.

В кармане у него были найдены эти страшные записи.

Это, конечно, забавно, когда ты невидим и можешь делать все, что хочешь.

Но...

У меня есть мать и отец. Я не знаю, родила меня мать когда-нибудь или нет, но она у меня есть.

И сейчас я ее вижу. Она читает вслух:

— В праздник Благовещенья на малой могиле

— Белые священники пели псалом.

— Белые священники с улыбкой хоронили

— Маленькую девочку в платье голубом. —

Я вижу, как вздрагивает её нижняя губа.

Но...

Для них я невидим.

Вы сразу же представьте, что бы вы сделали на моем месте. Я делаю. Но... Я совсем не видим — вы не видите даже того, что я делаю.

Я ясно помню тот день.

До того дня я как-то не замечал, что человек не только видит и слышит людей, но и его люди тоже видят и слышат.

И вдруг (в то самое утро) я проснулся со страшным предчувствием.

А в следующий миг страшный, нечеловеческий крик вырвался у меня из горла.

Мать печатала на машинке.

Я подошел и обнял ее за плечи — она продолжала печатать. Я начал бить по клавишам машинки. Я видел, как выползали из-под моих ударов:

— МА-МА, МА-МА, МА-МА, МА-МА —

Я видел-видел на белой бумаге эти жирные буквы!

Мать продолжала печатать.

Мой отец всю жизнь пишет рассказы о том, «какой гадкий, какой отвратительный человек».

Он любит лишь «посмертно-посмертных людей». Для него они «груда убожеств», для него они «резиновые мячи с начищенными щеткой пуговицами глаз, с выгнувшими листами железа лбов». Для него они «недожеванные богом куски мяса».

А Я ЛЮБЛЮ ЛЮДЕЙ!

Я целую руки проститутке, идущей себя продавать. Я говорю ей — какая она хорошая! Я говорю — как я ее люблю! Ей даже не надо опдергивать руки. Она просто не видит, не слышит, не чувствует меня.

Я хочу делать людям добро. Но зачем, если ни добра, ни зла они все равно не увидят.

Если я не существую!!!

А. Онежская

ВСАДНИКИ БЕЗ ГОЛОВЫ

Только ложь. Только ложь усталости.
Только бисер непролитых слез,
В двадцать лет — дыхание старости
И запретный заветный вопрос.
Но никто не найдет ответа,
На губах — дыхание лжи,
На заветном запретное вето,
На дымящей крови — жир.
Ложь вокруг. Безликие лица.
Заколдованный круг слепых,
Боль Венгерской рапсодии Листа
Станет ложью в руках толпы.
Только ложь. — Невесомые строфы.
А расплата? Возмездие? Гнев? —
Никогда не придет к Кристофу
Купина в нетленном огне.
Гнев иссякнет. Возмездие духа
Недоступно для нас. Увы!
Нам легко походить друг на друга,
Пешим всадникам без головы.

МОСКОВСКОЕ ЗОЛОТО

Золотые разводы боли
В черной крошечной тьме,
Золотые мысли в неволе,
Золотые люди в тюрьме.
Всюду ценности: золото хлеба,
Золотые кисти знамен,
И в навозном золоте хлева
Золотая роспись имен,
Прославивших этот город,
Эту землю и этот мир,
Среди них, сияющих гордо,
В золотых похвалах кумир,
Самый новый и самый яркий,
Осчастлививший свой народ,
Золотые съездят подарки
Простакам умиленным в рог.
Золотые зубы на челюстях,
Золотые посулы в статьях —
Всё прекрасно в моем отечестве,
Построенном на костях.



Вопреки упрёкам и попрекам,
Вопреки прощеньям и проступкам,
Жили в сердце красота и крепость
Без предательств, без уступок.

Не крепилось, не скупилось, тело,
Прочности непрочного прозрев,
Вопреки преградам и пределам,
Прошлое придуманным согрев.

Пересуды, передразни, пряность
Запрещенных, непощенных встреч.
Вопреки приличиям упрямо
Несгораемое мнило сжечь

Все препятствия и все препоны,
Вопреки всем бредням и уставам,
Перешло. Но слишком поздно.
Голубого снегиря не стало.

Вопреки всем правдам и неправдам
Верила в распятыё на кресте.
Улетел. Игра без правил,
Вопреки любви и красоте.

ПОТЕРЯННАЯ РАДОСТЬ

Может быть, эта радость придет,
А, быть может, и нет,
Всё равно навсегда этот свет,
Этот мрак,
Это черное солнце в душе.
Ты не помнишь меня,
Я забыла тебя,
В темноте, ослепленные светом,
Мы не видим друг друга —

Давно не нужны на земле
Влюбленные и поэты.
Знаю я, оборвется непрочная нить
Между сердцем и сердцем,
Оборвется и стихнет
Мой крик,
Кто-то мяккий и серый придет
Этот мир паутиной обвить.
Слышишь, падают капли —
То дождь или слезы?
Человечество плачет
Сухими глазами,
И не песни — веревки
Сплетают и судьбы и люди...
Души умерших стыдятся живых.
Может быть эта радость
Истаяла облачком пара,
Может быть, она нищей
Стоит у ворот.
Медный колокол бьет,
Раскрывается сердце, и память
Сторожит на часах
Погребенные сердцем стихии.
Мир стреляет в поэтов,
Хоронит их в общей могиле,
Ставит крест вольным песням —
Поэтам не ставят креста,
Ослепленные светом
Во мраке живут миллионы,
Не слышавшие песен,
Кроме песен кнута
Или из-под кнута.

* * *

*

Ссадина в сердце
А день серый
Серый как губы непра
Ссадина в сердце и нега
Горькая
Голуби ходят по городу
Голуби холёные и гордые
Жирные в жестких перьях
Жимлоости не место в горнице
И ты у меня не первый
И день серый
Ссадина в сердце
Боль невесомая
Но ведь есть же солнце
И есть совесть
И не нужно сговать
А день серый
И ходят сытые голуби
В городе сыро и холодно
В городе сыро
Голодные сыты
Чего-то стыдно
И всё постыло
Я люблю тебя
Как всё просто
Прости мне мою пропасть
Я не жду и не спражду
Всего лишь ссадина в сердце
На перекрестке
День замешался серый
Страшный

* *
*

Голубого не было
Была боль
Синее остыло
И умер бог
Желтое жеманилось
В рамках разума
Маялось манией
Погоней за радостью
Фиолетовое лентой
Сплетало ласки
Таяло летом
В полетах ласточки
Зеленое злилось
И не исчезло
И всюду незримо
Улыбалась жалость
Алое ластиком
Стирало небо
А главное — счастья
Голубого — не было

* * *

Этой ночью было очень страшно
Очень пить хотелось и отня
Я ведь не жалею и не стражду
Чтобы ты простил меня

В эту ночь мне снились горностаи
Белые на белой простыне
Голубой-Вечерний свечку ставил
И чертил узоры на стене

Тени исступленные метались
На сосновом темном потолке
Белые ручные горностаи
Сладко спали на моей руке

Ласковыми мягкими хвостами
Щекотали гладили меня
Белые грудные горностаи
На измятых белых простынях

Голубой-Вечерний пил как воду
Губы пересохшие мои
На исходе золотого года
Безысходность золота Аи

Свечка догорала воск растаял
Очень пить хотелось и отня
Ночью мне приснились горностаи
Белые на белых простынях

* *
*

Пусть земля станет зеркалом
Голубым и бесстрастным
И весь мир опрокинется
В неподвижных зрачках
Приникну нагая
Затуманно дыханьем
И стисну пленцом
в раковинах руках

Ты моя жемчужина
Коричневая на розовом
Всё не-Я чуждо мне
А ты звучишь на земле проталиной
Лепестками розы
Горю не старая
в твоей ночи

Ну моя хорошая
Голос протяжен
Голубиной дрожи
Губам не унять
Хочу неиспрощенного
Невесомой тяжести
В зеркале как в пропасти
возьми меня



Далеко в тумане
За Таманью
Море мается у берегов
Ставшее навязчивым
Как мания
Неотступным
Как воспоминание
В разноцветном ритме маяков
Далеко в тумане
За Таманью
Море мнется мнится
Мечет манит
Я молюсь у полотна Тамайю
Легкая ненужная и маленькая
Мне всегда и всюду будет мало
Иступленность красок густовинных
Я молюсь у полотна Руфино
Верю в нежность и больших и малых
Знаю силу заклинаний магов
А конца по-прежнему не видно
Но ведь есть же море за Таманью
А за морем Турция-Османия
И в зеленом с охрой тумане
В отрешенности молитв и мистики
Красная на золотом Испания
До свидания
До встречи в Мексике

* * *

*

На желтом песке
На желтом песке
Белая раковина тела
На синем лоскутке
На синем лоскутке
Перламутр оцарапан губами
Избавь избавь меня
От желаний и жалобы времени
Желтый сочится песок
На синие чаши весов
Медленно медленно
Возьми золотые цветы
Я капля на теле твоём
Песчинка
А мир — это ты
Он чистый
И теплый
Как тело твоё
Оцарапанное губами

МОЕМУ ПОКОЛЕНИЮ

Снег осыпается под твоими ногами,
Смех рассыпается колокольчиком мелким...
Зачем ты клянешься ветхими богами
И молитвы пишешь на стенах мелом?
Зачем ты падаешь ниц на землю?
Зачем ты смотришь с надеждой в небо?
Тебе приснилась весенняя зелень
Или обессилила сытая нега?!
Зачем ты считаешь зерна в колосьях?
Зачем ты мнешь цветы каблуками?
Или в тебе не осталось злости!..
Или сердце превратилось в камень?
Снег осыпается под твоими ногами,
С неба падает дождь весенний.
Зачем ты клянешься чужими богами
И жнешь урожай, не тобою сеянный?
Смех рассыпается колокольчиком мелким,
Смелым снится весна и зелень —
Где же твой колокол звонко-медный,
Точка опоры, перевернувшая землю?!

Ю. Галансков

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ МАНИФЕСТ

(Поэма)

1

Всё чаще и чаще в ночной тиши
 вдруг начинаю рыдать.
 Ведь даже крупицу богатств души
 уже невозможно отдать.
 Никому не нужно:
 в поисках Идиота
 так измотаешься за день!
 А люди идут, отработав,
 туда, где деньги и бляди.
 И пусть.
 Сквозь людскую лавину
 я пройду, непохожий, один —
 как будто кусок рубина,
 сверкающий между льдин.
 Небо!
 Хочу сиять я.
 Ночью мне разреши
 на бархате черного платья
 рассыпать алмазы души.

2

Министрам, вождям и газетам — не верьте!
 Вставайте, лежащие ниц!
 Видите — шарики атомной смерти
 у мира в могилах глазниц.
 Вставайте!
 Вставайте!
 Вставайте!
 О, алая кровь бунтарства!
 Идите и доломайте
 пнистую тюрьму государства!

Идите по трупам пугливых
тащить для голодных людей
черные бомбы, как сливы,
на блюдища площадей.

3

Где они —
те, кто нужны,
чтобы горло пушек зажать;
чтобы вырезать язвы войны
священным ножом мятежа.
Где они?
Где они?
Где они?
Или их вовсе нет? —
Вон — у станков их тени
прикованы горстью монет.

4

Человек исчез.
Ничтожный, как муха,
он еле шевелился в строчках книг.
Выйду на площадь
и городу в ухо
втикну отчаянья крик...
А потом, пистолет достав,
прижму его крепко к виску...
Не дам никому растоптать
души белоснежный лоскут.
Люди!
Оставьте, не надо...
Бросьте меня утешать.
Всё равно среди вашего ада
мне уже нечем дышать!
Приветствуйте Подлость и Голод!
А я, поваленный наземь,
плюю в ваш железный город,
набитый деньгами и грязью.

5

Небо!
Не знаю, что делаю...
Мне бы карающий нож!
Видишь, как кто-то на белое
выплеснул черную ложь.
Видишь,
как вечера тьма
жуеет окровавленный стяг...
И жизнь страшна, как тюрьма,
воздвигнутая на костях.
Падаю!
Падаю!
Падаю!
Вам оставляю лысеть.
Не стану питаться падалью —
как все.
Не стану кишкам на потребу
плоды на могилах срезать.
Не нужно мне вашего хлеба,
замешанного на слезах.
И падаю, и взлетаю
в полубреду,
в полусне...
И чувствую, как расцветает
человеческое
во мне.

6

Привыкли видеть,
рассказывая
вдоль улиц в свободный час,
лица, жизнью изгаженные,
такие же, как у вас.
И вдруг —
словно прома раскаты
и словно явление миру Христа —
восстала
растоптанная и распятая

человеческая красота.

Это — я,
призывающий к правде и бунту,
не желающий больше служить,
рву ваши черные путы,
сотканые из лжи.

Это — я,
законом закованный,
кричу человеческий манифест!
И пусть мне ворон выклевывает
на мраморе тела
крест!

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!**1. Не дай убить!**

Москва!
Нью-Йорк!
Каир!
Войну отвергают все.
Но, будто бы белка, измученный мир
Вертится в пушечном колесе.
Птицы петиций.
И что же?
Наплевано в лицо анкет.
Хотят человеческой кожей
Облягивать тело ракет.
А люди —
Всесильные люди!
Шатаясь на паре костей,
Несут материнские пруди
Вскармливать медных детей...
Стойте, скоты!
В деревянный острог
Загонят,
Привяжут веревкой:
Ударит уверенно между рот
Палач, умудренный сноровкой.
Потом, в руке железо сжав,
Уверенный и властный,
Повяжет лезвием ножа
На шею бантик красный.
Не дай убить!
Взречи, чтоб гложли,
Узлами мускулы связав,
Срывай ремни,
Ломай оглобли,
С кровавой сеткой на глазах.
Сжигая в ноздрях гнева пламя,
Роняя пену изо рта,
Вздымай же голову, как знамя,
Кишки на шею намотав!

2. За революцией — революция...

Казалось, все те же уставшие лица,
Все те же чувства
И мысли все те же.
А я утверждаю, что где-то таится
Огромный
Всемирный
Мятеж.
Над бомбами вырос вопрос,
И мир в ожидании затих.
Поэты себе под нос
Бубнили старинный стих,
Кричали ура,
Бились в истерике,
Делали венчиком алые губы...
И вдруг —
В ослабевших руках Америки
Кровью окрасился сахар Кубы.
В груди пирамид заиграла труба,
Сфинкс пробудился и вышел из мрака.
И, будто бы факел в руках раба,
Вспыхнула нефть Ирака.
Европа казалась распятой,
Но прорастали росточки.
Диктаторы и дипломаты
Дрожали на атомной бочке.
Голод,
Болезнь,
Усталость
Повисли над миром виной.
Я чувствовал, что осталось
Последнее слово за Мной.

3. Долой пессимистов!

Может быть,
В прокаженные города
Я приду ненужным врачом
И пойму, что мир навсегда
Страдать и стрелять обречен.
Но, по-моему, нет и нет!..

Посмотрите, какая заря!
И какой, посмотрите, рассвет! —
Ожидает Меня — Бунтаря.
Приду,
Принесу генералам блюдо
Из грубого Марсова мяса.
И переделывать бомбы буду
В сочные ананасы.
Пройду сквозь запутанность лабиринтов
Сорвать и отбросить решетки тюрьмы.
И крысы рванутся из рук лаборантов
К горлу творцов чумы.
И не зло, а музейную ношу —
Супербомбы,
Язвы
И туберкулез —
Принесу и небрежно брошу
Пессимистам, мокрым от слез.
1960 г.

А. Иванов

* *
*

Знаю, можно мне руки скрутить,
Знаю, можно мне выбить зубы,
Но все ж я попробую прикурить
О ваши шипящие губы.

* *
*

Вечерами, когда за окном
Сибирская воет вьюга,
За стол мы с тобой вдвоем
Садимся друг против друга.
Товарищ, не лги, не лги,
Что жизнь другая возможна —
Под глазами уже крути,
В сердце пасмурно и тревожно...

* *
*

На черном — белые бусы,
На смутном — траур бровей.
Губ красные ленты смеются,
А глаза все грустней и грустней...
Не удержишь, схватив за запястье!
Последняя электричка,
Последняя надежда на счастье,
Последняя сигарета и спичка.
«Можно присесть?» — «Садитесь».
«Можно взглянуть в глаза?»
Молчанье. Лишь копыны листьев
За окном нам бросал вокзал.

М. Вербин

ВОЙНА

(Бред раненого)

Я обвиняю от имени нищих
 И монументов, застывших в нишах,
 От имени женских кровавых сосков,
 От имени выдернутых ногтей,
 От имени не успевших родиться

Я обвиняю в происшедшем людей!

Ваше последнее слово!

1

Сегодня лоб. мой пуст!
 Пусть — не беда.
 Еда — заправка чувств —
 Мне не чужда.
 Чуждак чужда не делает:
 Дело ведь, дело ведь чудо!
 Блюдо мыслей белое,
 Бел и я, как блюдо.
 Люд блудлив.
 Ливень олив весел.
 Летом лес не красив —
 Сив,
 но чудесен.
 Песен мне!
 В сене душистом,
 Чисто и мглистом вполне.
 Пол?
 Не чист он!
 Песен мне!
 Песен? Слушай —
 Лужи шлепают,
 Ждут, когда капли раздавят раму.
 Слушай!

Немцы в Севастополе

жгут панораму!

Песен мне!

Песен, больших и ласковых!

Прошу вас, спойте, спойте мне!

Слушай!

Герострат в оловянной каске

Смеется и пляшет в косматом огне!

Вам! Кораблей покосились мачты!

Вам! Неужели так мир!

Мальчик! Чего же ты плачешь, мальчик?

Песен мне!

Слушай песенку!

«Детство, отдыхая в старой клетке,

Превратилось в пепел от жары.

А вдали на обнаженной ветке,

Деловито плачут снегири,

Поднимая клювики устало.

И летит в далекие края

Вместе с этой песней, песней старой,

Жизнь моя и молодость твоя!»

Может быть, мысли случайно спутаны?

— Нет!

Но мы ведь прядущего спутники.

Сачеллит телом свят.

Свет свят силой,

Илом и ротой солдат.

Соли дать им в могилы?

Рябой ребенок

Ряб елот.

Бинокль звонок

Обрывками нот.

Нож нет.

Нем язык.

Зыкни, свет —

Сверь азы.

2

Война!
 Человечества черная маска.
 Мессу павшим!
 Певчих масса.
 Рты дрожавших.
 Вы, в окружении коктейлей,
 Ласкою женской утрюмы,
 О нашей судьбе не хотели
 Вспомнить в утаре рюмок?
 Брови тянутся за

солтоминкой.

Вспомните, вспомните, вспомните!
 Глянув на свой ожиревший живот —
 Живы мы.
 С розовыми глазами нарасташку,
 Уставшие плакать и петь.
 Пятна крови на детской рубашке,
 Трехлетний ребенок, начавший сесть.
 В чьи-то колени блюете, хрипите,
 Вспомните про нас,
 Не хотите?
 Вспомните про нас —
 Мы ведь живем
 Под аккомпанемент (снарядов и бомб.
 Из-за вашей прихоти родились,
 Из-за нее мучаемся,
 Неужели крика: «Разойдись!»
 Будут слушаться даже тучи?
 Нет!
 Нет!!
 Нет!!!
 Не будет этого.
 Если все мы страдальцы планет,
 То вокруг все наше, планетово.
 Закройте двери!
 Раскройте уши —
 Будем говорить мы.
 С-Л-У-Ш-А-Т-Ь!
 Будем творить мысль!
 Вылезайте из колясок,

Вылезайте из пеленок,
 Вы, не видевшие ласк,
 Чье прозвание ребенок!
 Мы — грядущее планеты —
 Родились под свист, под грохот.
 К черту желтые монеты!

(Хо-
 хот!)

Кров из крови хотите сделать?
 Не выйдет, не выйдет!

Слышите, вы!

Вылезайте, милые,
 Когда-то белые,
 А теперь красные от крови!
 Слушать!
 Мысли бровями подернуты,
 Брови мыслями трубят!

.
 А жизнь с настойчивостью поденщицы
 Кидает

бомбы

в кроватки ребят.

Для вас это новость?
 Врете, не новость!
 Ваше последнее слово!!!

ЛЕТО

Окна в бумаге.
Волнуется народ.
«Назад ни шагу!»
(Вперед — не идет!)
Сверкали крыши
В огне, в пыли.
Зеленые крылья
По полю ползли.
У них своя отпрыжка,
У них своя мечта.
Свинцовая короста
И больше ни черта.
Крысиная отпрыжка
За тридевять земель,
В подвале мальчишка
Мечтает о зиме.
Мечтает о морозе,
Грустит про лед.
Свинцовые монокли
Мечту бьют влёт.

* * *

Утро сияло, как медное, —
Окна шторами жмурятся.
Кто-то выписал мелом
Имя твое на улицах.

Солнцем в сторону скошенный,
День, задыхаясь, встает.
Толстые дяди
Калошами
Топчут
Имя
Твое.

Н. Горбаневская

Рыбари невод раскинули...

А невода полным-полны,
Кругом и всюду невода,
И в модный цвет морской волны
Внутри их крашена вода.

А невода кишмя-кишат
Поэтами. И всех оттенков
Иною рыбой. И лежат
Хвосты напоперек простенков.

А невода полным-полны.
Мой друг, тебе грозит беда.
Обманчив цвет морской волны,
Кругом и всюду невода.

* *
*

Мечтательные недоноски
Купались в теплом молоке,
И сохли жеванные соски
В кривой откинутой руке.

Горами двигая, и плача,
И выставя себя на срам,
Ко мне брела моя удача
По этим сдвинутым горам.

А в небесах, как призрак гордый
Или безумный крик «люблю»,
Широкогорлый, длинногорбый,
Качался розовый верблюд.

* *
*

Какую музыку играют
в этих кафе!
Но в самом деле —
не играть же Моцарта
в этих кафе.

Подпрыгивает белый бантик,
и пальцы, как на пишущей машинке,
стучат по беленьким и черненьким,
стучи, стучи, машинка.
Постриженная современным ежиком,
труби, труби, труби и зазывай,
а скрипка раздирается на части,
а женщина поет, поет, поет
лиловым голосом,
лиловыми губами,
большое лиловое пятно
кольшется
и ходит вдоль.

* *
*

О друг мой!
Мне становится страшно.
И я говорю: — О друг мой! мне скучно.
И я говорю: — Пойдем, походим
по улицам,
где ходят машины
и ходят люди,
и где машины — это машины,
а люди — это люди,
и падает мокрый снег.

ГРИБНОЙ ДОЖДЬ

*Стихотворение, подобно абстрактной картине,
изображающее взрыв большой атомной бомбы.*

Стоголовым папиросником покачнулся,
оборотни, оборотни заходили ходуном.
Хороводы — водовороты
небо вывернули кверху дном.

Падают с неба птицы,
солнце в водоросли сорвалось,
по лесу прыгают серые волки,
воет в болоте лось.
Боже! Господи! Где ж Ты!
Рваная, мокрая изнанка облаков.
Боже! Господи! Где ж Ты!
И каков?

Лица Твоего в хаосе
не обнаружу. Гром, лес,
лешие спотыкаются,
приплясывают на облаках небес.
Ведьмы зарю изодрали к черту,
окупали клочьями черные бедра.
Земля сейчас перейдет черту
и ринется в воду, не зная броду.

Ах — вот и грибы
стосаженные выросли.
Не сберегли мы, Господи, Твоя милости.

* *
*

— Ты проснешься ль, исполненный сил.

Н. Некрасов

А! Многоликий —
да ты оказался безлицым,
безглазый, безгубый, безухий,
и только намек на нос
играет посреди.

Ну и пусть остаются с носом
дура на протертых коленках,
простертые ниц.

Я ухожу по асфальту.
Ухожу по шоссе и по лесу.
По саду и переулку.
Я ухожу от тебя.
Я прохожу сквозь тебя,
как сквозь зеркало!

* *
*

В крае Ярослава Осмомысла,
В Галички державными земли,
Уронила дева коромысло,
Расплеснула воду по земле.

Наводнены степи конским храпом,
Обнялися дымом города,
По кровавым заднепровским тропам
Двигается Батыева орда.

Задрожали тонкие осины
Над своим любимым ненаглядным...

И поныне русы и русины
Кососкулы и нетверды взглядом.

* *
*

Опять в висках бессонница гудит,
Опять на голубые перекрестки
Я выхожу. И вижу впереди:
У каждого бульвара на пруду
Начерчен крест крошащейся известкой.

Мне падает снежинка на плечо.
Лежит снежинка о шести концах.
И пожелтела в свете фонаря.

Постой, постой! Неверная игра
Мороза и ночного освещенья
Меня тотчас же выдаст с головой.
Верь, это мне готовится опмщенье.
Постой, постой!
Не падай, а упав — растай.
Но на плече моем не застывай
Шестиконечной желтою звездой.

Уже в облаву ринулись дома,
Деревья запрещали и ломаются.
И нет пути. И не сойти с ума.
И не зайти в захлебе декламаций.

И не взойти по лунному лучу,
И не укрыться в узеньком простенке...

Но дайте в руки мне
свечу...

Свечу!..
Известка... сыплется... со стенки.

* *
*

Мне горе сводит губы. Не сегодня
И не вчера все это началось.
Мне сводит губы горе. Я спокойна.
Я, право, удивительно спокойна.
Сухое горе сводит губы мне.

В вечернем небе светится звезда.
Едва-едва, как тихий светлячок.
Зеленые большие поезда
Уходят. Огонек
Последнего вагона
Дрожит, слабеет, кружится
И вот
Скрывается за темный поворот.

Мне счастье улыбнулось из угла
И снова завернулось в паутину.

* *
*

В некрологе написано — поэт.
О, как нелепо. Разве не бессмертный?
Бессмертные? Но мир идет на жертвы,
Прислушиваясь к звону эполет.

О, как нелепо. Как болят глаза.
Им странно и не можетсЯ заплакать.
Когда б могли схватить ее за локоть,
Чтоб из ладони выпала коса.

А может быть, судьба его легка,
Ему не подниматься по тревоге.
И шепчем мы, прощаясь на пороге:
— Спи, бедный форвард русского стиха.

* *
*

Изнеможение любви,
Крути, хрусти плечами сведенными
И эту девочку сорви
Со стебелька ее неведенья.

Она, как зимняя река,
Волненью неоткуда взяться,
Но хлынет лед, и облака
В ее глубинах отразятся.

Тогда следы и стереги
В надъеве голоса высоком,
Как истекают белым соком
Надломленные стебельки...

И дует ветер вдоль реки.

* *
*

Перелистай меня до корочки
И, если хочешь, изорви,
Чтобы очков моих осколочки
Тихонько плавали в крови.

Переверни меня до листика,
Чтоб буквы прыгали и плыли,
Чтобы, как губы эпидемтика,
Страницы пеною заплыли.

Но что тогда, но что с тобой
случится,
Когда я выгляну, я гляну
из окна
И ты, неполучившийся убийца,
Опустишь руки и скажешь
«не она...»

И. Харабаров

Они печальные и призрачные,
Они — краса и скорбь земли,
Как думы вольные, непризнанные,
Как песня и мечты мои.

.
Сюда приходят люди сильные,
Чтоб, отправляясь в дальний путь,
Взойти на эти кручи синие
И на земную ширь взглянуть.
Здесь люди, с масляными красками,
Свои выводят имена.
Как много жаждущих бессмертья,
Завистливых и мелких душ!
Но дождь смывает все бесследно —
Чернила, краски, грязь и тушь.
И вновь глядят вершины горные
На звезды, тучи и огни.
Лишь тучи чистые и гордые
Их вечной белизне сродни!



Как ты печально, мартовское утро!
Давно растаял сумрак за горой,
Но так темно на улице и смутно,
И день такой печальный и сырой!

И на весну все это не похоже,
И зря земля мечтает о тепле,
О, непогода, злая непогода,
Покинув дом, я выхожу к тебе.

И пусть в метели буду я затерян,
Пусть сон в снегу назначен мне судьбой,
Но я не даром этот спор затеял,
Но я не даром начал этот бой!

Земля дождетется радости и ласки
И вновь зажжет подснежники свои,
И надо мной сомнения не властны,
И весь я полон света и любви!

* *
*

Как незаметно снег в лесу исчез,
Все стало непонятным,
незнакомым —

И этот старьй дом,
и этот лес,
И эта речка по соседству с домом.
Какая ширь, какая рань кругом,
Какая тишина и синь на свете!
Разбуженные теплым ветерком
Деревья тихо раскрывают веки
Навстречу дню,

плывущему с востока,
А до рассвета — еще столько лет,
И столько зим и весен
до восхода!

Весенний сумрак все заполонил,
И все заморозил своею красотой,
Но светлым ожиданьем полон мир,
И дышат дали солнцем и грозой!

* *
*

Шли мы с другом по волжским поймам,
По просторам июльской земли.
Шли мы берегом, шли мы полем, —
Беспечально и весело шли.

.
Вспоминается мне, как неожиданно
От реки, где темнели стога,
Вышла женщина из тумана
С кринкой теплого молока.
Полевою прохладой пропахшие,
Пальцы доброй ее руки
Отряхнули нам пыль с рубашек,
Застегнули воротники.
И почудилось нам, что Россия
Вот такая и есть, а не та,
Что у нас документы просила
И разглядывала паспорта...

ТВОРЧЕСТВО

Кладбище — река. В утробу ночи втекают кресты и могилы. Я против. Дважды два — четыре. Я против. Логика. Против. Логики. Любовь против любви. Кто сказал, что он хочет правильно! Колокол. Колокол, которым звонили к войне, звонят к миру. Против. Ты. Марсианка. Раскосые глаза. Подойди ко мне. ПРОТИВ! Правильно. Но нежность. Против. Нежности. Женщина против женщины. Баба. Против противника противился. Противень противен противник. Против. А супротив Противня пирог печется. Тебя жду. Изждалусись. Ждешь. Дым вьется. Чего хочешь. Меня. Против.

Против противного,

Против приятного,

Против счастливого, против опрятного.

Да здравствует розовое и голубое счастье
мещанина!



Головой в форточку, в солнце, в людей, в тебя, в ветер. Головой в форточку, а руки, а ноги, а плечи, а тело. Одной головой в одну форточку, двумя в две, тремя в три. В шесть белых просторных форточек шесть голов. Один человек и одно солнце, и одни люди, и один ты, и один ветер. Человек, который один — одинок, солнце всегда одно — одинокое, а ты. А тебя нет. А я — ах я и сама не знаю Я. В форточку головой. Не знаешь себя! Зеленое платье, змеиное платье, смеяльное платье, шуршащее платье. Но кто может шуршать подошвами, волосами, глазами, мыслями и животом. А как можно думать, если нет мыслей, придумывать мысли, домысливать мысли, обдумывать думы. Изредка полезно сунуть голову в форточку, в солнце, в весну, в чужие мысли, в кипящий котел, в прорубь. А как бы вы думали. Почем.

Нам горилла нипочем, нипочем,

Мы гориллу кирпичом, кирпичом.

Уходи-ка ты домой да домой,

И лицо свое умой да умой.

* *
*

Бетховен. А хлопают не Бетховену, а дирижеру. Великим людям так редко хлопают. Слабое бис. О эти великие! Мы очень любим великих величие. Ведь это из-за великих мы так малы. Если бы на свете не было маленьких женщин, не было бы и больших.

Цвет и музыка. Япония. А сколько там озер, интересно. За-литая водой пастель.

Похороны любви. Вы говорите, люди боятся смерти: ведь в ней они одиноки. Одиночества вой. Одни ночи с тобой. Но почему же люди не хотят любить, ведь когда любишь, то ты наверное не один. Боятся. Наша жизнь — это собрание анекдотов, несчастных случаев и банальных историй.

* *
*

Государство старается обмануть людей. Люди стараются обманывать государство и наоборот и еще раз наоборот. Маленького мальчика всегда били потому, что он не мог дать сдачи. Мы бьем других потому, что иначе они станут бить нас. Я ударю тебя первый, чтобы ты не ударил меня первым. Мой удар вызовет твой удар. Мой вопрос — твой ответ.

Сто человек стукнулись животами друг об друга с такой силой, что в живых осталось 37 человек. Давай драться!

Надо все испытать, чтобы добраться до Истины. Гора истины, на ночь в ее ущелье прячется от бандитов Солнце. Вот глупое. Ему-то чего бояться.

И уже через час она подумала: Куда, зачем я просила его войти. А еще через пять минут он вспомнил: Куда я мог положить ключ. А дверь была закрыта и кто-то очень остроумный повесил над окном надпись

ВЫХОДА НЕТ!

Им ничего не осталось двоим из породы человекообразных волков, как перестраивать свое счастье. Но счастья уже не было: оно было выброшено куда-то вместе с последней бутылкой водки.

* *
*

*Нестись, кувыркаясь,
В ослепительной музыке,
Помня обо всем на свете...*

Ты, которому девятнадцать лет,
Жрущий томатный сок,
Я тебя научу разучивать сонет
Под расстрелянных пуль цокот.

Толстокожие, сколько вас,
Облепили всю площадь: «Новенькое!»
А если не площадь, а плаха-плац?
Зажмурите глазки от кровиньки!

Вы верьте мне, я не маньяк,
Я просто хочу, чтобы вы были
По-настоящему несчастные
и счастливые!

Впереди еще столько драк,
Сенатских площадей и пуль ливней!

В смирительной рубашке бьется Россия!
Но ее никогда не обуздать!
Встаньте!
Сейчас!
В эту ночь синюю...
НАДОЕЛО! ДОВОЛЬНО! ХВАТИТ!

1961 г.

А. Горчаков

* *
*

Толпа — табун трибуна.
Топтать в три бунта
Тоски телегу,
И звездных девушек касаться...
Я — пробовал!

Ан. Владимиров

О послушай, послушай! —
Не тебя ли зовут?..
По воде и по суше
Расползается звук.

Звуки сходятся, мнутся...
Голоса, голоса...
Ошалело мнутся
На ветру волоса.

Приближается ропот,
Быть беде, быть беде,
Расползается рокот
По земле, по воде.

Все туманно и сине.
Век крушения вер.
В пресной кобуре стынет
Голубой револьвер.

Мы не верим в Христосов.
Не снуем, не галдим.
С мачт высоких, крестовых
Мы в туманы глядим.

Надвигается грохот,
Расползается звук,
Слышен рокот и ропот —
Нас зовут, нас зовут.

Мы придем не пустыми
В час свержения вер.
В нашей кобуре стынет
Голубой револьвер.

И. Пересветов

ЛЮДЯМ НУЖЕН КУМИР...

Людям нужен кумир.

Они держатся за него цепко, мертвой хваткой. Добровольные богомазы малюют его портреты. Добровольные проповедники с возвышений возмлашают ему хвалу. Почитатели изучают его безгрешное житие, а фанатичные ревнители этой безгрешности рыскают в поисках еретических апокрифов.

Но кумиры ветшают.

И когда люди поймут, наконец, что их кумир не Бог вещь как велик и что они, творцы его, рискуют быть проклятыми вместе со своим идолом, они наглеют и уже без чистой совести, но с удесяттеренными силами продолжают свое грязное дело, а ведь (по Виктору Гюго) «так приятно быть блохой на теле льва!»

А. Каранин

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ЕВГЕНИЮ ЕВТУШЕНКО

Отрекается от Вас один из той молодежи, которая вняла Вашему призыву «думать о большом и малом». От Вас не будут отрекаться Исаковские и Ошанины, они будут стараться подчинить, подправить, но из строя они Вас не попросят. Только нам позволяет совесть не принять или принять Вас в наши строящиеся ряды.

Прежде, чем остановиться на Вашем творчестве, выскажу некоторые замечания о назначении поэзии.

Все рупоры человечества твердят, что назначение поэта — служение народу. Такой ли жребий послали поэту его разум и сердце? Я не думаю, что хоть один стоящий поэт подчиняет свою творческую мысль идее служения народу. Но я не знаю о существовании поэтов, которые не понимают, что они живут для народа, а труд народа делает возможным их существование. К тому же, если мы признаем возможность служения поэта народу, то мы беремся утверждать, что музыкант живет для художника, художник для каменщика и т. п. Рассуждая абстрактно, можно

набраться смелости заявлять, что, не служа друг другу, люди не могли бы существовать. Но пользоваться абстракцией может только ученый, изобретающий схему общественного развития, и его возможности ограничены; кроме общих грубых идей, он не может дать ничего конкретного. Факты реальной жизни не терпят насилия абстракции. Всякое служение народу — осознанная или не осознанная ложь. Этим мериллом правильности пути поэта, его идейной чистоты, выгодно пользоваться всяким проходимцам государственной власти, которая очень умело отождествляет себя с народом. Сколько талантов обмануто и погублено! Маяковский, и тот не мог отстоять индивидуальность. Хотел шагнуть в ногу с народом и не заметил, как это желание привело его к служению личности, установившей диктатуру над народом. Очень хорошо, что его служение не зашло так далеко, а то, возможно, пришлось бы ему заливаться вместе с Исаковским и Опшаниным.

Исходя из этого очень примечательного факта, поэты должны признать, что служба возможна только в армейских казармах, политических учреждениях и церквях. Поэт не должен сливаться с государственной властью. Сливаясь с ней, он теряет свою индивидуальность, превращается в работника стандартного конвейера, цель которого — прямая апологетика государственной власти, а следовательно и всех пороков, которые она в себе несет.

Служение поэта народу, как чему-то цельному, невозможно еще и по той причине, что народ никогда — ни по экономическому положению, ни по интеллектуальному развитию — не представлял из себя единого целого. Разве если только назвать сообщество индивидов единством народа. Средний культурный уровень народа отстает от уровня развития его передовой части. Поэтому всякое приспособление поэтом своего творчества ко вкусу народному превращает поэта в простого ремесленника, губит его, индивидуальность поэта непримирима с ложью. Поэтому я ратую за условия, которые способствуют развитию индивида. Какие бы «мнения» ни высказывал «индивид», мы не можем не называть их жизненной правдой. Но заметим, что не всякая индивидуальность определяет влияние поэта на формирование и развитие общественной мысли. Ведь мещанин, рассюсюкивая свой бытик, выражает то, что действительно наполняет его жизнь. Но такие сосюскальнички не менее вредны обществу, чем изверившиеся догмами спецы по части того, КОМУ, КОГДА хвалебный гимн исполнить.

Таким образом, критерием полезности поэта обществу может служить та правда, которую содержит всё новое, нарождающееся.

Заметить новое, нарождающееся, поверить в него, набраться мужества признать ветхость старых догм — вот поле деятельности поэта нашей эпохи.

Чувствует ли Ваше творчество какие-либо новые тенденции?

Просматриваю поэму «Станция Зима». Смутное и тяжелое время нашло свое отражение в этой поэме. 1953 год! Судороги рыданий сковали Россию. Она провожает в последний путь «учителя и вождя всего прогрессивного человечества». Политики воздают последнюю дань, клянясь в верности «отцу земли Русской», и укладывают своего собрата в мавзолей.

Россию мучит один вопрос: «что же дальше?» Дальше оказывается все очень просто. Выявляется, что друг прогрессивного человечества правил в стране, как в вотчине своей. Начинается искоренение ошибок. Дорого же обошлись тебе, Россия, эти ошибки. Они поглотили миллионы лучших твоих сынов. Поэма хороша тем, что она не уводит от наболевших вопросов. Кое-кому хотелось, чтобы Россия, вступая в борьбу с культом личности, не очень-то раздумывала о причинах, его породивших. Но не тут-то было. Ум разбужен.

Россия осмысливает свой путь, начиная с 1917 года. Революция! Народ думал, захватив власть, сразу добиться правды и хлеба. Всё казалось очень просто: сбросим буржуев — и наш мы новый мир построим. Партия большевиков сумела вселить веру в возможность быстрого осуществления принципа равенства и справедливости. И, что замечательно, мы с любовью и грустью смотрим на тех «ершистых и колючих», которые, взяв Зимний, думали на следующий день

«построиться,

знамена развернуть,

«Интернационал»

и солнце в трубы,

и весь в цветах —

прямой к Коммуне

путь».

У нас улыбки на лицах не от того, что мы не верим в возможность развернуть знамена и идти прямо в коммуны. Мы именно за прямой путь в Коммуну, а не за тот, отмеченный ложью и подлостью, который нам пытаются всучить.

«Папахи и бескозырки», шедшие за революцию бескорыстно, вглядываются в жизнь деревни, пытаются отыскать какие-то новые черты. Крестьян, вдохновленных решениями партии на трудовые подвиги, они что-то не встречают. Их взгляд останавли-

вается и «на заборе с нехорошей надписью», и на пьяном, распростершимся у чайной. Они не пропускают без внимания «у раймага в очереди спор».

Почему-то встает вопрос о молодежи, о комсомоле. И молодежь не та, нет в ней свежих мыслей и смелых споров, и комсомол превратился в придаток государственной власти.

Вас возмущает бюрократическая душа председателя колхоза. Свои симпатии и надежды Вы обращаете на молодого парня, который не хочет «врастать в виллитис, как в президиум», и идет искать правду в Иркутск.

На вопрос, в чем назначение писателя, Вы смело подмечаете, что писатель превратился в жандарма духа:

...«Что сейчас писатель?
Он не властитель,
а блюститель дум».

С этим перекликается неверие в искренность новых перемен. Правильно замечаете!

«Твердим о том, о чем вчера молчали,
молчим о том, что делали вчера».

Как ни оформляй новые трюки, переход подлинности в ложь остается неопровержимым фактом.

Ваша поэма полезна тем, что она срывает покрывало с тех предметов, которые не положено видеть. Она будит мысль, и мы с великим удовольствием внимаем Вашим призывам:

«Давайте думать,
великое не может быть обманом».

Но уже в этой поэме чувствуется раздвоенность, надуманность, отсутствие твердых убеждений, которые так ярко проявляются в последующих стихах. Вы раскрываете ложь и подлость, ставшие законом в жизни России, переродившие идеи революции, но Вы склонны питать иллюзии, что достаточно подчистить и идеи примут прежний блеск.

Молодой, босоногий парень с «рогатинной на плече», по-Вашему, представляет силу, способную добиться правды: ...и тогда держись, бюрократия! Но, даже учитывая все внутренние противоречия этой поэмы, нельзя не заметить, что она имеет весьма

существенные оттепели. И, всегда в таких случаях, все надежды связаны с ожидаемой весной. Но увы! Весна пришла совсем не такая, которую ждали.

В течение некоторого периода Вы пытаетесь заставить себя распевать в тех тонах, которые характерны для поэмы. Призываете не забывать «тревоги века», спорить и думать «о путях России прежней и о сегодняшней о ней».

Вы стараетесь идти в ногу с временем, поэтому Ваш ум не оставляет без внимания «век скорбных и смутных дум», которые несет в себе молодежь.

Вас мучает забота о благе ближнего, и Вы предлагаете поговорить в правду «молота и лемеха». Благородные мечты! Но боюсь, что Вы плохо готовы к политбеседе в таком духе.

Хотя, впрочем, начинают проявляться задатки будущего партийного работника. Правда, еще есть некоторые сомнения. Но ничего, время их обсоет.

Стремление стать в ряды «лучших из поколения» трубачом, готовым в наступлении сменить «трубу на винтовку», пересыщается желанием всех удивлять:

«Ах, как хочется удивляться!

Ах, как хочется удивлять!»

Любовь к удаче приводит к воспеванию партии, которая умеет вовремя мобилизовать массы на подъем.

Вы — хамелеон нового типа. Впрочем, верность доктрине делает хамелеонство законом всякого развития.

Партия искореняет ошибки, стремясь догнать и перегнать, направляет всю энергию, волю и ум на коммунистическое воспитание молодежи, и Вы сразу же устремляетесь на Дальний Восток и попутно заглядываете на станцию Зима, — вновь набраться духа трудового народа. В Хабаровске всё пестрит и улыбается, хабаровчане «собой и городом горды». Внутренне «обогатившись», Вы обрушиваете свой гнев против тех, кто не уверен, что юность комсомола вечна. В последних стихах Вы, правда, воспеваете «нигилиста» (впрочем, двуликого: одного — на площади Маяковского, и совсем другого — в официозе для старших школьников), «любившего Пикассо и не любившего Герасимова». Впрочем, не буду забегать вперед, выложу впечатления о поэме «Откуда вы?»

Для Вас не стало никаких сомнений — все вопросы решены. Удивительная прозорливость наталкивает Вас на мысль, что есть комсомол «сонливых мещан» и деятелей с «наигранным огнем».

«Наш настоящий комсомол
еще моложе стал, чем раньше,
он юность вечную обрел».

Верность комсомольской дисциплине духа, желание побороть в себе «возмутительную нелогичность», призывают Вас простить ошибки отцов, пойти к ним на выучку.

Какие ошибки каких отцов Вы призываете нас простить? Тех «нелюбимых солдат», которые шли на Зимний, или тех, что, прикрываясь «именем революции, расстреливали революцию»?

Теперь все ручки для Вас становятся живыми и все лягушки — Царевнами.

Гниль и маразм Вы склонны объявить признаками роста. Сын-твое свинство — тактическим ходом. Заканчивается поэма призывом к единству перед памятью отцов. И на вопрос «Откуда вы?» мы узнаем, что

«Из государства
Москвы,
Хабаровска,
крестьянство мы
и пролетарство
и государство это — мы!»

«Святой Лаврентий» и тот не осмелился утверждать, что государство — это мы. Он откровенно своими действиями показал, что на первом этапе коммунистического строительства государство и он нераздельны, а что будет на втором, завершающем этапе — для него не важно. Ко всему двуличию Януса примешивается изрядная доля секса. Надо отдать должное Вашему поэтическому таланту: смазливые девочки тают при виде Вас и Вашей «расстеленной — растерянной». В этом вопросе Вы также не способны стать выше пороков нашего общества.

Всюду по течению и нигде против — вот Ваше кредо. Но по характеру Вы — новейший тип мещанина. А мещанин любит копаться в старом барахле. Так вот и Вы из старого барахла скроили поэму «Считайте меня коммунистом».

Некоторые находят ее многословной. По-моему, эти люди чувствуют не многословность, а напыщенную искренность. Вы как будто пытаетесь из себя что-нибудь выдавить, но это что-нибудь должно быть обязательно революционным. И Вы вспоминаете «нелюбимых и ершистых», которые «не выются у столов».

Вы сражаетесь налево и направо «с двуликими Янусами», которым «не важно, что власть советская, а важно то, что власть». Но разве такая перманентная кадриль с передышкой не есть тактика двуликого Януса?

Впрочем, Вы сами себя выдаете:

«И лезут в соколы ужи,
сменив с учетом современности
приспособленчество ко лжи
приспособленчеством ко смелости».

А. Яковлев

БЕГЛЫЕ ЗАМЕТКИ О СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ

Плоско, поверхностно, обще. Рифмуются первые попавшиеся слова. Нет работы ни над внешним материалом (активное вторжение в жизнь), ни над словом (активное вторжение в технику). В стихах не нужен смысл, не нужна логика. Не этого требует время. Самозвучание, неопределенные ассоциации, догадки представляют больший интерес, дают новизну и заставляют думать. Непривычность соединения слов несет определенную поэтическую нагрузку, в то время как избитая, ставшая прописной истиной мысль работает вхолостую.

Новизну дает не затасканное слово, а новое слово. Новое слово дает новую мысль. Новая мысль дает новое в жизни. Если поэт увидел новое в жизни и нацепил на это слово — он оригинален, он классик (в определенном масштабе). Но можно искать новое и в старом содержании. Это — путь через колорит слов, через оттенки значения слова, через работу над своим образным выбором слов для знакомого содержания.

Стих бездарен, если в нем нет ни новых мыслей, ни нового выражения старых. Оппозиционные стихи (пример — Рылеев «Я ль буду в роковое время...») — новые мысли, новые тема и содержание. Они могут быть без всяких оттенков и тональности значений слов — прямы, просты, красивы, как у Пушкина. И для своего времени они будут новыми и интересными. Но пройдет время, и они будут удовлетворять лишь нашу историко-революционную, литературно-стилевую любознательность. Если же

они будут служить образцом для следующих поэтов — наступит эпоха эллигонов.

Поэзия — это искусство слова. А если так, то важно:

1. Чтó в поэзии служит объектом этого искусства и
2. как этот объект выражен словом.

Т. е. важны степень интеллектуального развития поэта (его умение наблюдать) и степень формального достоинства его искусства.

Найти новые темы и то трудно в наше время тотальной регламентации, и уж отразить их поэтически еще труднее. Пример: «Гляжу в окно, там ветер перебирает паутину тонких ветвей березы. Ветви голы, как нитки». Как назвать это? Чувствую: я нечто, что обладает желанием назвать, а это (береза) — мертвая для меня. У меня еще нет такой возможности. А она дается не глядением вот сейчас, вот на это. Такое глядение дает лишь ходячие, поверхностные наброски (эскизы, как говорят художники). Эта возможность дается опытом ряда названий и знанием аналогичного опыта других, т. е. школой.

Я могу назвать увиденное так, как называют мои учителя, подобные им. Я могу даже повторяться с ними в тематике (исторические и сельскохозяйственные, мифологические и производственные сюжеты и темы). Но лишь аккумулировав и свой и чужой опыт, освоив все возможности, я могу сказать и свое слово (исключения допускаются для истинного таланта — гения). А пока этого нет, пока наши поэты и поэтессы вместо упорной, требующей самоопречения и самопожертвования творческой работы у алтаря искусства, ходят в шутовских колпаках и играют роль позёров, кривляк и проститутток, нам не суждено услышать живое слово настоящей поэзии.

Чтó такое настоящая поэзия и кто является настоящим поэтом — не тема этой статьи.

АННОТАЦИЯ НА «КОКТЕЙЛЬ»

В начале декабря в Москве вышел новый поэтический сборник «Коктейль». Как сообщает составитель в предисловии, «молодые авторы, средний возраст которых не достигает и 20 лет», объединились на «общей платформе»:

«цвет — мысль — пластичность».

Небольшой по объему, «Коктейль» собрал стихи семи родственных по стилю поэтов. Их сближает общность мироощущения, очень удачно выраженная поэтом Шерлем:

Всё, что вокруг —
это грустный коктейль
из истины, лжи,
снов и желаний...

Во многих стихах звучат нотки усталости, отрешенности от серых, тусклых будней. Это заметно сказывается на тональности сборника в целом.

Нередко протест авторов проявляется в уходе в мир вольного искусства, в бегству. Поэт Яша Синий так заключает стихотворение «Сладкая жизнь»:

Среди разнузданного б.....ва, —
заслуга чья-то иль вина? —
цвело восторженное братство
любви, поэзии, вина.

Люди устали. Мир ждет прозы, испепеления старого, спившего.

С грозой приходит обновленье,
и соприкасаются миры,
и наступает избавленье
от удушающей жары.

Михаил С... «Гроза»

Упадочны, на наш взгляд, этюды поэта С. К. «Озеро» и особенно «Город». В «душном запахе городской осени» поэт видит «яд однообразия», признаки умерщвления, «оскудения личности».

В отдельных стихах («Символ», «Видение» и др.) чувствуется интонация подражания поэтам предреволюционного периода, что, впрочем, находит глубокое и естественное объяснение.

В заключение короткой аннотации хочется отметить приятное оформление сборника, прекрасно гармонирующее с его содержанием.

«Коктейль» выпущен небольшим тиражом.

О Г Л А В Л Е Н И Е

журнала «Феникс»

	Стр.
<i>Стефан Цвейг</i> — Полифем, пер. с нем. <i>Н. Нора</i>	88
<i>Б. Пастернак</i> — Одно стихотворение	90
	Из автобиографии
	91
<i>Ю. Стефанов</i> — Песня о пауке	98
	Рушатся цепи прогресса...
	101
	Царевна-Волхова
	103
<i>В. Ковшин</i> — Я хочу туда, где цветет...	104
	Сломали клоуну ноги...
	104
	Почему колонны крутятся...
	105
	Осколок черного дома...
	105
	Не слышал я звон монет...
	105
	Вы видите, плохие люди...
	106
	Мы с тобой почти калеки...
	107
	Мне говорили «не надо»...
	108
	В пыльных окнах завода...
	109
	Было темно и спрашно...
	110
	Хорошая ты...
	111
	Мне говорят, что молод...
	112
	После забытой речи...
	113
	Мы попрощались и встали на разных щеках улицы...
	113
<i>С. Красовицкий</i> — Импровизация	114
	И конечно барсучье лето...
	115
	О, весна...
	116
	Отражаясь в собственном ботинке...
	116
	Птичьи крики детей на снегу...
	117
	В брод
	118
<i>В. Хромов</i> — Заплыли жиром складки дома...	119
	Колокольня внахлест отсчитала число...
	120
	Тем не менее темнеет...
	120
	Пустынный череп космогона...
	121
<i>Л. Чертков</i> — Солнце — как сохнет калиновый цвет...	122
<i>А. Петров</i> — Эх, романтика, синий дым...	123
<i>М. Мерцалов</i> — Люди Африки — черные люди...	123
	Слова, слова — безликое число...
	124
<i>Н. Нор</i> — Моим друзьям	124
	Если вдруг за мною явитесь вы...
	125
	Нас очень мало. Мы очень слабы...
	126
	Нам не дано поехать по Европе...
	126
<i>А. Щукин</i> — Люди, слушайте! (поэма)	127
	Оранжерея
	131
<i>А. Шуг</i> — Звуки	133
	В ответ на это...
	136
	В голубые одежды надежды...
	137
<i>В. Калугин</i> — Творчество: Песня о птице. Молитва моря. Солнце	
	раскололось на миллионы... Невидимка
	137

<i>А. Онежская</i>	— Всадники без головы	140
	Московское золото	141
	Вопреки упрекам и попрекам...	142
	Потерянная радость	142
	Ссадина в сердце...	144
	Голубого не было...	145
	Этой ночью было очень страшно...	146
	Пусть земля станет зеркалом...	147
	Далеко в тумане...	148
	На желтом песке...	149
	Моему поколению	150
<i>Ю. Галансков</i>	— Человеческий манифест (поэма)	151
	Пролетарии всех стран соединяйтесь!	155
<i>А. Иванов</i>	— Знаю, можно мне руки скрутить...	158
	Вечерами, когда за окном...	158
	На черном — белые бусы...	158
<i>М. Вербин</i>	— Война (бред раненого)	159
	Лето	163
	Утро сияло, как медное...	163
<i>Н. Горбаневская</i>	— А невода полным-полны...	164
	Мечтательные недоноски...	164
	Какую музыку играют...	165
	О друг мой...	165
	Грибной дождь	166
	А! Многоликий...	167
	В крае Ярослава Осмомысла...	167
	Опять в висках бессонница гудит...	168
	Мне горе сводит губы...	169
	В некрологе написано — поэт...	169
	Изнеможение любви...	170
	Перелистай меня до корочки...	170
<i>И. Харабаров</i>	— Они печальные и призрачные...	171
	Как ты печально маргосское утро...	172
	В супробах и лесах затерялось...	173
	Как незаметно снег в лесу исчез...	174
	Шли мы с другом по волжским поймам...	174
<i>Э. Эфа</i>	— Творчество	175
	То ли горе, то ли скука...	177
<i>В. Нильский</i>	— Истопленно целую девичьи губы...	177
	Ты, которому девятнадцать лет...	178
<i>А. Горчаков</i>	— Толпа — табун трибуна...	178
<i>А. Владимиров</i>	— О послушай, послушай...	179
<i>И. Пересветов</i>	— Людям нужен кумир...	180
<i>А. Каранин</i>	— Открытое письмо Евгению Евтушеню	180
<i>А. Яковлев</i>	— Беглые заметки о современной поэзии	186
Аннотация на «Коктейль»		187

Литературная критика

Н. Тарасова

„Век крушения вер . . .“

(ЗАМЕТКИ О ЖУРНАЛЕ «ФЕНИКС»)

Передо мной лежит «Феникс». Это подпольный литературный журнал московской молодежи. И первый вопрос, который у меня — случайного читателя — возникает — «Интересно, что же они хотят сказать миру?» — материализуется в слова на первой же странице журнала:

О чем запекшиеся губы?
Какое слово им хотелось?

А текст третьей страницы отвечает и мне и авторам «Феникса» строгим поэтическим заветом:

Пишите правду, чтобы слово жило;
Чтоб под вуалью покрывала
Мысль, закрученная, как пружина,
Вдруг прикоснувшихся —
Убивала.

Пожалуй, завет этот был не только принят сотрудниками к сведению, но и по возможности воплощен в жизнь. «Феникс» своим содержанием если и не убивает, то оглушает: на читателя обрушиваются водопады мыслей и чувств; здесь и отчаянье и надежда, осуждение и бунт, жертвенность и служение, и над всеми этими потоками царит революционность в жизни и в искусстве.

«Феникс» — царство поэтов. Из двадцати четырех авторов — двадцать один выступает на поэтическом поприще. И лишь трое — в качестве публицистов, критиков и теоретиков поэзии.

Как грибы после дождя Венгерской революции, стали возникать в России подпольные молодежные журналы: «Синтаксис», «Бумеранг», «Феникс», «Спираль», «Коктейль» и другие.

Редактором наиболее известного из них — «Синтаксиса» —

был Гинсбург. Этот журнал насчитывает пять номеров. Затем редактор и члены редакции были арестованы. Но их постигла разная участь: члены редакции вскоре были выпущены, а редактора осудили на два года тюремного заключения.

Спустя некоторое время «скончавшийся» «Синтаксис» возродился под новым названием — «Бумеранг». Вышло три номера этого журнала, после чего редактора «Бумеранга» сослали. И наконец, из пепла споровших в огне диктатуры «Синтаксиса» и «Бумеранга» восстал символ вечного обновления «Феникс».

Имя, данное журналу, имеет символическое значение не только потому, что он возродился из первых двух погибших, но, главным образом, потому, что он, судя по творчеству представленных в нем поэтов, возрождает испепеленные коммунизмом и соцреализмом поэтические традиции начала двадцатого века. Он как бы связывает в крепкие узелки оборванные концы нитей, повисших где-то в двадцатых-тридцатых годах нашего столетия, со своими, молодыми и крепкими, протянувшимися навстречу отцам и дедам по линии русской поэзии. Связь восстанавливается, и, как заживающая рана, затягивается зияющая пустота десятилетий новой порослью российского поэтического поколения.

Лишнее подтверждение своему предположению находим мы и в аннотации на поэтический сборник «Коктейль»:

«В отдельных стихах («Символ», «Видение» и др.) чувствуется интонация подражания поэтам предреволюционного периода, что, впрочем, находит *глубокое и естественное объяснение*. (Выделено здесь и ниже мной. — Н. Т.)

Для того, чтобы глубже и правильнее осмыслить творчество молодых поэтов «Феникса», следует, в первую очередь, остановиться на тех принципиальных моментах, которые составляют основу их поэтического сознания. Она выражена в двух статьях: в «Открытом письме Евгению Евтушенко» А. Каранина и в теоретической статье «Беглые заметки о современной поэзии» А. Яковлева.

А. Каранин, свергая с пьедестала Евтушенко, категорически отрицает тезис служения поэта народу:

«Всякое служение народу — осознанная или неосознанная ложь. Этим мерилом правильности пути поэта, его идейной чистоты, выгодно пользоваться всяким проходимцам государственной власти, которая очень умело отождествляет себя с народом. Сколько талантов обмануто и погублено!»

Но и в том случае, если бы власть не пыталась отождеств-

влять себя с народом, этот тезис, по Каранину, всё равно неверен:

«Служение поэта народу, как чему-то цельному, невозможно еще и по той причине, что народ нигде — ни по экономическому положению, ни по интеллектуальному развитию — не представляет из себя единого целого. Разве если только назвать сообщество индивидов единством народа. Средний культурный уровень народа отстает от уровня развития его передовой части. Поэтому всякое приспособление поэтом своего творчества ко вкусу народному превращает поэта в простого ремесленника, губит его, индивидуальность поэта непримирима с ложью».

Напомним Блоковское выражение в его «Пушкинской» речи в 1921 году: «Дело поэта вовсе не в том, чтобы достучаться непременно до всех олухов».

Но и с государственной властью «поэт не должен сливаться». «Сливаясь с ней, он теряет свою индивидуальность, превращается в работника стандартного конвейера, цель которого — прямая апологетика государственной власти, а следовательно и всех пороков, которые она в себе несет».

Какова же задача современного поэта? «... Критерием полезности поэта обществу, отвечает А. Каранин, может служить та правда, которую содержит все новое, нарождающееся. Заметить новое, нарождающееся, поверить в него, набраться мужества признать ветхость старых догм — вот поле деятельности поэта нашей эпохи».

А. Каранин освещает одну, общего порядка, сторону бытия поэта. Другая, более интимная, касается вопроса, какими же должны быть сами стихи:

«В стихах не нужен смысл, пишет А. Яковлев, не нужна логика. Не этого требует время. Самозвучание, неопределенные ассоциации, догадки представляют больший интерес, дают новизну и заставляют думать. Непривычность соединения слов несет определенную поэтическую нагрузку, в то время как избитая, ставшая прописной истиной мысль работает вхолостую. Новизну дает не застывшее слово, а новое слово. Новое слово дает новую мысль. Новая мысль дает новое в жизни».

Логическое распределение «новое слово — новая мысль — новое в жизни» ассоциируется с началом Евангелия от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога (мысль), и Слово было Бог (жизнь)». В статье А. Яковлева ощущается прежде всего присутствие теорий Велемира Хлебникова о «слове как таковом», в итоге — о знаменитом «самовитом слове» футуристов. Стоит вспомнить и подчеркнутый хлебниковский алогизм образов и

смысловые сдвиги в его стихах, чтобы с большим терпением и вниманием отнестись к ряду поэтов «Феникса».

«Феникс» представляет собой спектр различных поэтических направлений. В этом сказывается подлинная свобода его создателей, предоставившая с большой терпимостью каждому поэту высказать свое правдивое слово. Для большинства поэтов характерно подчеркнуто субъективное отношение к миру и увлечение формализмом в неискаженном смысле этого слова. Молодые авторы находятся в состоянии поисков собственных неповторимых поэтических миров и новых форм их выражения. Такой подход к поэзии не только логичен, но и единственно верен после сорокалетнего существования унифицированной и регламентированной пародии на литературу. Этим подходом автоматически аннулируются для авторов «Феникса» «законы» так называемого социалистического искусства.

Каждый из молодых поэтов выбрал себе учителя, соответствующего его характеру, образу мышления и темпераменту. В стихах «Феникса» не трудно услышать и голос *раннего* Маяковского (Ю. Галансков), и *раннего* Пастернака (С. Красовицкий), и *раннего* Блока (В. Ковшин). Но все-таки, над всеми ними, почти без исключений, довлеет образ юродивого поэзии ради Велемира Хлебникова, искавшего всю свою краткую легендарную жизнь путей к обновлению русской поэзии. Это он увлекает современную русскую поэтическую молодежь магической игрой со словом: «На дереве черном, как буква У...» (С. Красовицкий) или «Тем не менее темнеет...» (В. Хромов), или «Голубого не было...» (А. Онежская), или

Миру рифма
 Мера свинца
 Венок к лире
 Мертвеца
 От детей и от отца
 Лац-ца дриц-ца
 Ла-ца-ца
 Ца-ца-ца-ца

(А. Шут. «Звуки»)

Голос Хлебникова слышится и в страстном призыве А. Яковлева к молодым поэтам: «...пока наши поэты и поэтессы, вместо

упорной, требующей самоотречения и самопожертвования творческой работы у алтаря искусства, ходят в шутовских колпаках и играют роль позёров, кривляк и проститутток, нам не суждено услышать живое слово настоящей поэзии».

В этом выговоре много юношеской горячности и жесткой строгости. Но выражает он несомненно одно: призыв к пониманию поэзии, как *формы жизни*. И это еще раз подтверждает общее Хлебниковское влияние.

Что касается остальных учителей поэтов «Феникса», то совсем не трудно проследить и понять, почему именно они избраны на эту почетную должность. И Маяковский — стихийный бунтарь, ниспровергатель, фантаст и гуманист («Облако в штанах» и др.), и Пастернак — гениально раскрывающий изнутри в невиданных образах тайны бытия и его красоту («Проза, как жрец, сожгла сирень...»), и Блок, воспевший в 1921 году — перед своей смертью — «тайную свободу» —

Пушкин! Тайную свободу
Пели мы вослед тебе!
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе —

все они необычайным образом соответствуют настроениям молодых поэтов в переживаемой ими настоящей эпохе.

Странную и трагическую переключку поэтов и лет можем мы уловить в приведенном стихотворении Блока и стихотворении Н. Нора «Если вдруг за мною явитесь вы...» Увы, так же как Блок ожидал по ночам непрощенных гостей из ЧК в 1921 году, ждет ночных гостей из МГБ Нор в шестидесятых годах, спустя сорок бредовых лет. Он готов к этому. Без сожаления «о сделанном» шагнет поэт в «холодную пустоту» «железной клетки». И в тюрьму он унесет с собой свою «мечту» — залог своего бессмертия:

И вдали от друзей, среди толстых стен
Мы дождемся с ней свободы дня.
Мне не страшен ваш многолетний плен,
Не убив ее, не убить меня.

(1959 г.)

Амулет «тайной свободы» спасал и спасает русских поэтов от духовной и творческой смерти. На наших глазах и в наши дни чудесным образом воскресают и победно шествуют по советской

России голоса тех, кто ни на гран не предал и не продал свою музу: зазвучал тихий голос загубленного в концлагерях Осипа Мандельштама, ожил звук стиха скончавшегося от голода Велемира Хлебникова, повторяются молодыми голосами стихи расстрелянного Николая Гумилева, читают в молодежных кружках, упиваясь музыкой поэзии, стихи заправленного Бориса Пастернака; и единственная выжившая из них, выдержавшая испытание духа («Мы ни единого удара не отклонили от себя») Анна Ахматова заговорила снова полным голосом в своей «Поэме без героя».

Со всеми ними восстанавливается связь молодого поколения, наводится мост через пропасть черных, опустошенных лет, «когда не стало поэзии, никакой... когда, скажем проще, прекратилась литература» (Б. Пастернак, «Автобиографический очерк»).

* *
*

«Ранние символисты — провидцы и пророки, они охвачены тревогой и ожиданием мировых катастроф», пишет К. Мочульский в своей книге «Александр Блок». В стихах поэтов «Феникса» мы ощущаем те же настроения. В данном случае уже трудно говорить о влиянии. Следует говорить о трагическом и знаменательном совпадении мировых ситуаций. На грани девятнадцатого и двадцатого века ранние символисты улавливали грядущие перемены — «подул свежий ветер», «заря восходит», «свет борется с тьмою». Накануне Октябрьского переворота, за четыре месяца до него, смертельно уставший Блок почуял надвигающуюся катастрофу: — «Между двух снов»: — «Спасайте, спасайте!» — «Что спасать?» — «Россию», «Родину», «Отечество». (Из дневников). Молодые поэты-«шестидесятники» ощущают нечто очень схожее.

Мы оттенок
Мы иные
Мы предчувствия, предтеча...

(А. Шуг. «Звуки»)

Обстановка шестидесятых годов, повисших над пропастью третьей мировой апокалиптической войны, духовно и психологически сродни обстановке, которую познала Россия в канун Первой мировой войны и революции — ощущение грозного удушья.

Тем же предчувствием прозовых событий наполнены авторы «Феникса» и, как мы узнали из аннотации, поэты сборника «Кок-

тейль»: «Люди устали. Мир ждет прозы, испепеления старого, сгнившего, пишет автор аннотации. —

С прозой приходит обновление
и сотрясаются миры,
и наступает избавление
от удушающей жары.
(Михаил С... «Гроза»).

В самом журнале «Феникс» наиболее четкой иллюстрацией может служить стихотворение Ан. Владимирова «О послушай, послушай!..» Всё оно пронизано необычайной лихорадочной тревогой и ожиданием надвигающихся неизбежных катастроф:

Приближается ропот,
Быть беде, быть беде,
Расползается рокот
По земле, по воде.

.

Всё туманно и сине.
Век крушения вер...

Ю. Галансков в своей поэме «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» ощущает грядущие прозы иначе, по-своему:

Казалось, все те же усталые лица,
Все те же чувства,
И мысли все те же.
А я утверждаю, что где-то таится
Огромный
Всемирный
Мятеж.

* * *

Предчувствия, ожидания и мировая тревога, воспринимаясь и творчески перерабатываясь, выливаются в самые разнообразные и не всегда прямые высказывания, какие мы приводили выше. У одних поэтов они принимают форму размышления над миром и Вселенной, у других превращаются в ожидание атомной войны и представления о ней, у третьих — в углубленный само-

анализ, у четвертых приобретают образ антикоммунистической российской революции.

Размышления над миром и Вселенной Ю. Стефанова вылились в поэму «Песня о пауке». Она проникнута глубочайшим пессимизмом. Из века в век на земле ничего не меняется. Человеку нет ответа на его вопросы. «Молчание мира — извечный обычай». И эта «загадка» мироздания мучает поэта. Все, кто пытался восставать на это молчание, — Врубель, Прометей — смиренно лежат и тлеют в могилах. А страшная таинственная жизнь течет необъяснимым потоком. И поэт делает необычайное открытие:

Правят миром ни Бог, ни случай,
Ни ученые, ни глупцы, —
Только в этой сети паучьей
Все начала и все концы.

В центре паучьей сети сидит «могучий паук» — «Восьминогое солнце вселенной». Обращаясь к нему, всемогущему, поэт говорит:

Ты играешь, как желтыми листьями,
Нашим разумом, силами нашими,
Вор, создавший для мира истину,
И создатель, ее укрававший.

Человек стоит перед загадкой Вселенной, умоляет об ответе камни, «ветра», душа его полна черной тревоги, но

Бог дрожит,
Вождь вождит,
Ищут хлеба скитальцы,
Время льется бесцельно,
Как струйка песка.
И закушены губы,
И стиснуты пальцы,
И во взгляде все та же
Немая тоска.

Этой же теме — человек и мир — посвящено и другое стихотворение Ю. Стефанова «Рушатся цепи прогресса...», которое, в отличие от «Песни о пауке», написано не в таких ярко выраженных импрессионистических тонах. Мир преследуем войной — «от копья до ракет». Сейчас над миром полыхают далекие, как

зарницы, небольшие прозы — в Каире, Алжире, Будапеште. Но они — предвестники «последней прозы». И уже встала над нашей землей, просвечивая сквозь атомный взрыв, тень «гориллы в звериной шкуре» — грядущего каменного века.

И в смертельной тоске дурных предчувствий спрашивает поэт нашу планету:

Земля, для чего же тогда ты
 Растила нас тысячи лет?

Но снова в ответ — молчание. «История мутным течением смыкает для целей иных» все лучшие произведения искусства, все светлые даты человечества. И вместе с будущим надвигается на мир «мрак первобытных эпох».

Теме грядущей войны посвящено и стихотворение Н. Горбаневской под невинным названием «Грибной дождь». В последний предсмертный миг люди, животные, деревья, лешие и ведьмы поднимаются в одном вихре атомного взрыва. И вдруг из него раздаётся тоскливый голос поэтессы, задающий непривычный вопрос: «Боже! Господи! Где ж Ты! и каков? Лица Твоего в хаосе не обнаружу!» А когда выросли «трибы стосаженные», ничего не осталось ей иного, как горько произнести: «Не сберегли мы, Господи, Твоя милости». Но тут же, в следующем стихотворении, Н. Горбаневская бросает вызов Богу:

А! Многоликий —
 Да ты оказался безлицым,
 Безглазый, безгубый, безухий,
 И только намек на нос
 Играет посреди.

Ну и пусть остаются с носом
 Дураки на протертых коленках,
 Простертые ниц...

(«А! Многоликий...»)

Трагедия молодежи типа Н. Горбаневской и Ю. Стефанова («Песня о пауке») та же, что и раннего Маяковского. Он тоже искал, «богохулил, орал, что Бога нет», вызывал Его на разговор, но... молчала Вселенная, не удостоивая ответом.

Век наш — странный век. Поистине, *век крушения старых вер*: идеалистических, материалистических, всяких. Опадают они,

как прозрачная сухая шелуха, под которой прощупывается некий твердый и незнакомый плод. Но пока...

Вопреки всем правдам и неправдам
 Верила в распяты на кресте.
 Улетел. Игра без правил.
 Вопреки любви и красоте.
 (А. Онежская. «Вопреки упрёкам и попрекам...»)

Кто попроще, те, как и молодой Маяковский, надеются на свои силы, которые кажутся им неиссякаемыми:

Мы не верим в Христовов.
 Не снуем, не галдим.
 С мачт высоких, крестовых
 Мы в туманы глядим.
 (Ан. Владимиров. «О послушай, послушай...»)

И только лишь один поэт В. Нильский, стараясь раскрыть внутреннее антагонистическое лицо жизни, создает такие образы:

Иступленно целую девичьи губы —
 — Это — жизнь!
 Разбиваю колени о плиты церкви —
 — Это — жизнь!

Но жизнь — это и богохульство (рок-н-ролл под сводами храма), и святотатство («лик иконный» под каблучком). И кончается стихотворение:

Ну, а жизнь, что ж?..
 — Лебединый крик...
 Склею скорее
 Христовов лик!..
 («Иступленно целую девичьи губы...»)

Но проблема в том-то и заключается, что не *склеивать* надо «Христовов лик», а готовить себя к *новой* встрече с Ним, после которой отпадет надобность в век крушения вер и катастроф повторять старое, принадлежащее уже прошлым столетиям.

Итак, всё рушится, опровергается, подвергается испытаниям мысли и чувства и во внешнем мире, и во внутреннем. Внутренняя душевная жизнь повторяет в себе элементы внешних гран-

диозных духовных катастроф. Так, микрокосмос неразрывно связан с макрокосмосом.

Душевная расщепленность и неприкаянность характерны для стихотворений, посвященных внутреннему человеческому миру. Душа погружается в сон, пытается спрятаться в сферы подсознания от действительности, мечется, запяная в переулки и тупики духа.

Осколок черного дома
 Оформил пустой переулок.
 Я засыпаю снова —
 В странный вхожу закоулок.

 Захлопнулись двери мира.

(В. Ковшин. «Осколок черного дома...»)

Поэтам этого профиля близок мотив самоубийства, как выхода из невыносимого положения:

И когда подойдет мне срок,
 Как любимой не всякий любовник,
 Замечательный красный шиповник
 Приколно я себе на висок.

(С. Красовицкий. «О, весна!..»)

Состояние их духа порождает такие образы:

Я прост как доньшко пули,
 Как ножевая рана.

(В. Ковшин. «Мне говорят, что молод...»)

Эти поэты особенно легко и свободно ощущают себя в символической школе. Им близки муки и попытки символистов выразить словами невыразимое, сущность иррациональных миров, в которые они охотно стараются погрузиться:

Дрогнули плечи бога
 В круге, очерченном сразу.
 Тайны древнего рога
 Шли в безвременный разум.

(В. Ковшин. «После забытой речи...»)

Но не все поэты находят в себе силы всегда оставаться в тупиках и переулках подсознательного, направлять свои поиски только в глубь душевного колодца, отправляться в путешествия в иные измерения и миры. Нет-нет да и захочется вынырнуть, оглянуться по сторонам и, отбросив сладкую мысль о самоубийстве, порыться в поисках нового, прорастающего на руинах и пожарах века.

Характерным примером такого «выныривания» может быть поэтесса Э. Эфа. Ее погружение в тайны возникновения человеческой мысли и истоков творчества, исследования причудливых его законов и наблюдение за своей душевной сферой приводят к опытному познанию, что «ах, я и сама не знаю Я...». Среди внешней сумбура и хаоса чувств и мыслей наибольшее место занимает отчетливый протест:

«Дважды два — четыре. Я против. Логика. Против. Логики. (Вспомним у Достоевского в «Записках из подполья»: «дважды два четыре, ведь это, по моему мнению, только нахальство-с... После дважды двух уж, разумеется, ничего не остается не только делать, но даже узнавать...»). Любовь против любви. Кто сказал, что он хочет правильно! Колокол. Колокол, которым звонили к войне, звонят к миру. Против».

Заключенная в свой мир, с запертой дверью, над окном которого «кто-то очень остроумный повесил... надпись ВЫХОДА НЕТ!», Э. Эфа ощущает свое собственное и всего человечества одиночество:

«Похороны любви. Вы говорите, люди боятся смерти: ведь в ней они одиноки... Но почему же люди не хотят любить, ведь когда любишь, то ты наверное не один. Боятся».

О какой же любви друг к другу может идти речь, когда люди живут по закону: «Мы бьем других потому, что иначе они станут бить нас». И снова тупик. Одиночество. Волчий закон. Непознаваемость самого себя. Человек в своей сущности против всего. Он разрушает и разбрасывает на своем пути беспредельного отрицания всё, что ему предоставляет жизнь. А что же дальше? Дальше рождается тоска по истине:

«Надо всё испытать, чтобы добраться до Истины. Гора Истины, на ночь в ее ущелье прячется от бандитов Солнце. Вот глупое. Ему-то чего бояться».

И в добровольной самоизоляции поднимается вдруг в человеке стихийное желание приобщиться миру, другим людям:

«Головой в форточку, в солнце, в людей, в тебя, в ветер...»

(«Творчество»)



Остальные поэты «Феникса» отличаются именно этой общностью миру, России, людям. Свержение старого для них происходит не во имя свержения как такового, а во имя новой истины, новой веры. В отличие от поэтов, погруженных в созерцание космических катаклизмов и своих душевных катастроф, которые вбирают в себя их творчество и личность без остатка, другие поэты испытывают потребность в служении, соборности, жертвенности. Они — наиболее земные — пристально рассматривают, из чего проистекает их личная трагедия и трагедия России. Они ищут свое место и пытаются предопределить свою роль в идущей «драме». Недаром помещено в начале сборника стихотворение Б. Пастернака «Гамлет»:

Но продуман распорядок действий
И неотвратим конец пути.
Я один, всё тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти.

Если с таких позиций подходить к авторам «Феникса», то их можно разделить на две группы: служителей чистого искусства и представителей целенаправленного искусства. К последним мы относим поэтов с политической и революционной окраской. Среди них намечаются тоже разные типы: одни ограничиваются горькой констатацией положения. Других, в результате их собственного отрицательного опыта, охватывает чувство протеста, гнева, ненависти. Третьи находятся в состоянии бунта. Четвертые вносят в свой бунт некий организующий элемент, преображающий его в революционность. Пятым уже мерещится выход из российского и всемирного тупика.

Ясное и зрелое понимание происходящих событий, которым отличается большинство поэтов этой группы, говорит о том, что лицо молодой России уже не расплывчато и туманно, а энергично, мужественно и даже воинственно. Горькие складки на этом лице свидетельствуют о трагическом опыте детства и слишком рано созревшей юности («В двадцать лет — дыхание старости...» А. Онежская). Нельзя забывать, что авторы «Феникса», в лучшем случае, ровесники Второй мировой войны, что многие из них посещали детские сады и школы, когда настал знаменательный год — год смерти бессмертного Сталина:

«1953 год! Судороги рыданий сковали Россию. Она провожает в последний путь «учителя и вождя всего прогрессивного человечества»... Россию мучит один вопрос: «что же дальше?» Дальше, оказывается, очень просто. Выясняется, что друг прогрессивного человечества правил в стране, как в вотчине своей. Начинаются искоренения ошибок. Дорого же обошлись тебе, Россия, эти ошибки. Они поглотили миллионы лучших твоих сынов... Кое-кому хотелось, чтобы Россия, вступая в борьбу с культом личности, не очень-то раздумывала о причинах, его породивших. Но не тут-то было. Ум разбужен». (А. Каранин. «Открытое письмо Евгению Евтушенко»).

Эта выдержка взята из публицистического произведения «Феникса», а вот аналогичный пример из художественного: стихотворения в прозе И. Пересветова «Людам нужен кумир...», иллюстрирующее, каким образом «ум разбужен» и в каком направлении текут теперь его мысли:

«Людам нужен кумир. Они держатся за него цепко, мертвой хваткой...» Но время идет. Кумиры ветшают. И когда творцы кумира начинают понимать, что с их идолом могут быть прокляты и они, тогда «они наглеют и уже без чистой совести, но с удесятенными силами продолжают свое грязное дело...»

Приходится только удивляться, в какой краткой и точной форме изложил Пересветов то, о чем пишутся сотни и тысячи статей во всем мире и что до сих пор не могут понять миллионы.

«Феникс» открывается переводом произведения Стефана Цвейга «Полифем» (перевел Н. Нор), которое непосредственно вводит читателя в символическую картину деспотии: над «пещерой ужаса, тьмы и дурных предчувствий» властвует одноглазое чудовище Полифем, пожирающее по своей прихоти жмущихся друг к другу от страха нагих людей. «День за днем врывается твоя волосатая рука в наши ряды, ощупывает наши, пронизанные ужасом части тела, отрывает друга от друзей, брата от братьев». И в кровавой пещере люди, безмолвно подчиняясь участи, лишь спрашивают «друг друга глазами рабов: «Когда ты? Когда я? Когда последний из людей попадет в брюхо жиреющего бесчувственного зверя?»

К этой общей красочной картине Стефана Цвейга, так поразительно похожей на обстановку коммунистической России, можно подобрать ряд таких же красочных деталей из стихотворений молодых авторов «Феникса»:

Только ложь. Только ложь усталости.
Только бисер непролитых слез,
В двадцать лет — дыхание старости
И запретный заветный вопрос.

(А. Онежская. «Всадники без головы»)

Так же, как и в пещере Полифема, люди не способны ни на какое сопротивление:

Гнев иссякнет. Возмездие духа
Недоступно для нас. Увы!
Нам легко походить друг на друга,
Пешим всадникам без головы.

(Там же)

Трагическим сарказмом звучит стихотворение той же поэтессы «Московское золото», построенное на употреблении слов «золото», «золотой» в противоположных значениях и рисующее картину СССР:

З о л о т ы е разводы боли
В черной крошечной тьме,
З о л о т ы е мысли в неволе,
З о л о т ы е люди в тюрьме.
Всюду ценности: з о л о т о хлеба,
З о л о т ы е кисти знамен,
И в навозном з о л о т е хлеба
З о л о т а я роспись имен,
Прославивших этот город,
Эту землю и этот мир,
Среди них, сияющих гордо,
В з о л о т ы х похвалах кумир,
Самый новый и самый яркий,
Осчастлививший свой народ,
З о л о т ы е сыплет подарки
Простакам умиленным в рот.
З о л о т ы е зубы на челюстях,
З о л о т ы е посулы в статьях —
Всё прекрасно в моем отечестве,
Построенном на костях.

Концовка этого стихотворения перекликается со строчками из поэмы Ю. Галанскова «Человеческий манифест»:

И жизнь страшна, как тюрьма,
воздвигнутая на костях.

Эпохальный итог четырем десятилетиям коммунизма подводит в своем единственном в «Фениксе» стихотворении, звучащем, как песня, «Эх, романтика, синий дым...» А. Петров. В трех образах, сменяющих друг друга в трех строфах, проходит три эпохи русской революции 1917 года: «Обгоревшее сердце Данки», вырванное им для того, чтобы оно, пылающее факелом, осветило путь людям, идущим за Данко к всеобщему счастью, свободе и справедливости; второй: «В Будапеште — советские танки» — возрождение первоначально народной революционной власти в деспотию, кровавыми средствами усмиряющую своих восставших за свободу иноземных рабов. И наконец, третий — «наши души пошли на портянки» — результат этой деспотии в растоптанном, униженном, загнанном в подвалы МГБ человеке:

Сколько крови, сколько воды
Утекло в подземелье

Лубянки.

Но тот период, когда люди сидели в сталинской России, как в пещере Полифема, и каждый терпеливо ждал своей очереди в смерть, кончился. «Ум разбужен». Воля разбужена. Страх перешагнул заповедную черту и превратился в свою противоположность: в хмельную самозабвенную ненависть:

Знаю, можно мне руки скрутить,
Знаю, можно мне выбить зубы,
Но всё ж я попробую прикурить
О ваши шипящие губы.

(А. Иванов. «Знаю, можно мне руки скрутить...»)

Тоска человека по «живой рыжей жизни», «без партийных рыданий, без объективной брехни» прорывается в откровенный бунт; молодежь не желает, чтобы ей «тоном праведника» диктовали, «что правильно, что нет»:

А я кричу
Да-здравствую крайности,
Плановое

Плавное
Не по мне.

.
Я ненавижу

вашу трезвость,
Не знающую сомнений.

(А. Шуг. «В ответ на это...»)

Недаром и «Полифем» избран переводчиком Н. Норм для «Феникса». Поэма кончается созвучно наступившей послесталинской эпохе: «В наших душах незаметно разгорается пламя мести... Мы уже готовим ножами кол, кол для твоего глаза, жестокого, холодного, не знающего слез! Берегись, берегись, Полифем! ...Мы загоним кол в твой череп. И, перешагнув через труп, выйдем мы, братья народов, братья времени, из пещеры ужаса и крови под вечное небо земли».

* * *

Все приведенные выше выдержки из статей и стихотворений относились, как правило, к общему положению современной России. Но в этой боли за всю страну есть одно особое страдание. Это — трагическое положение российского искусства и его творцов, в данном случае — поэзии и поэтов. Участь их, в качестве темы, не раз встречается в стихах «Феникса». Естественно, что поэты переживают эту тему, как сугубо личную.

В небольшом стихотворении Н. Горбаневской «А невода полным-полны...» поэтесса предупреждает друга-поэта, чтобы он остерегался подвоха. Кругом заброшены «невода», а цвет воды крашен под морской, чтобы незаметнее была ловушка. В сетях уже плавают плененные поэты и «линая рыба».

Мой друг, тебе грозит беда,
Обманчив цвет морской воды,
Кругом и всюду невода.

О какой именно «беде» идет речь у Н. Горбаневской, повествуем в своем стихотворении «Слова, слова — безликое число...» М. Мерцалов:

Слова, слова, — где мера этих слов?
Какое мне дано на стих и правду право?
За них пытали ложью и отравой.
За них,

За горстку звонких слез,
 За чьи-то отблески, какие-то оттенки,
 Пускали жизнь свою на слом,
 Сушили сердце в тюрмах и застенках...

Этой же теме посвящено причудливое по форме стихотворение А. Шуккина — «Оранжерея». Перед читателем возникает тепличная обстановка, с «оловянным» воздухом, с плесенью на стенах. В оранжерее царствуют орхидеи и жирные наглые розы. В удушающей искусственной атмосфере умирает Нарцисс. Вокруг него столпились цветы и «глядят кровожадно». Ему нет места здесь, где все должно быть подогнано под одну мерку, сделано на один фасон:

Не нужно красных,
 Не нужно белых,
 Не нужно разных
 В оранжереях.

Для кого же оно, это страшное затхлое заведение?

Для проходимцев, — отвечает поэт.
 Для продавцов
 Роз, ананасов,
 Жизней и слов.
 Оранжерея, — больше нет мочи! —

предсмертно вскрикивает Нарцисс и, умирая, завещает «красным» розам:

Помните слезы!
 Ранние слезы!

Как бы обобщая эти личные трагедии разных поэтов в общую картину трагического положения поэзии и их творцов в современной России, пишет А. Онежская:

Мир стреляет в поэтов,
 Хоронит их в общей могиле,
 Ставит крест вольным песням —
 Поэтам не ставят креста,
 Слепленные светом,
 Во мраке живут миллионы,
 Не слышавшие песен,

Кроме песен кнута
Или из-под кнута.

(«Потерянная радость»)

* * *

*

Ненависть, отчаянье, бунт — все эти чувства, которые испытывает молодежь по отношению к власти и всему советскому строю, заставляют ее оглянуться на свое поколение и, внимательно присмотревшись к нему, понять, в состоянии ли оно оказывать внутреннее сопротивление гнету и насилию или судьба его будет такой же, как и нагих людей в пещере Полифема.

Не всем из них импонирует образ их поколения:

Мечтательные недоноски
Купались в теплом молоке,
И сохли жеванные соски
В кривой откинутой руке, —

запечатлевает свое саркастическое восприятие современной молодежи Н. Горбаневская. («Мечтательные недоноски»).

А. Онежская, обращаясь к своему поколению, бросает ему в лицо тяжкое обвинение:

Зачем ты клянешься чужими богами
И жнешь урожай, не тобою сеянный?

и задает ему судьбоносный вопрос:

Где же твой колокол звонко-медный,
Точка опоры, перевернувшая землю?!

(«Моему поколению»)

Поэт В. Нильский более активно подходит к этой теме: в его планах — воспитание современников в боевом мужественном духе, подготовка их к реально назревающим событиям, в которых каждый будет обязан найти достойное человека место и честно взглянуть в глаза выбору: отвоєванная свобода или вечное безысходное рабство.

Ты, которому девятнадцать лет,
Жрущий томатный сок,

Я тебя научу разучивать сонет
Под расстрелянных пуль цокот...

В этом стихотворении впервые возникает символический образ площади им. Маяковского, на которую, как на трибуну, выходят поэты со своими новыми стихами. Далекое не все поэты (конечно, не типа Евтушенко!) возвращаются после чтения своих произведений благополучно домой...

Толстокожие, сколько вас,
Облепили всю площадь: «Новенькое!»
А если не площадь, а плаха-плац?
Зажмурите глазки от кровиньки!

И снова обращаясь к своей воспитательной цели, Нильский говорит, что хочет научить «девятнадцатилетних» жить во весь размах, не прячась от жизни, от боли, от радости:

Вы верьте мне, я не маньяк,
Я просто хочу, чтобы вы были
По-настоящему несчастные и счастливые!

Потому что

Впереди еще столько драк,
Сенатских площадей и пуль ливней!
В смирительной рубашке бьется Россия!
Но ее никогда не обуздать!
Встаньте!
Сейчас!
В эту ночь синюю...

(«Ты, которому девятнадцать лет»)

В этом стихотворении мы сталкиваемся с совершенно новым явлением: поэт выступает открыто в роли глашатая новой революции. Недаром подпольные российские молодежные журналы стали рождаться после Венгерской революции. Они крещены ею. Дух восставшей Венгрии витает над этой молодежью. «В Будапеште — советские танки!» — не может забыть позора своей страны А. Петров.

О сколько ты, тьма, изломала
Взлетов борьбы и надежд:
Сожженная Гватемала,
Разрушенный Будапешт! —

горько вспоминает Ю. Стефанов (смешивая в одну кучу антикоммунистическую революцию с коммунистическим переворотом. Здесь надо отметить, что «Феникс» представляет ту молодежь, которой, по Н. Нору,

...не дано поехать по Европе.
 Нам не дано увидеть белый свет.
 Мы знание черпаем из утопий
 И строим мир из сплетен и газет).

Не обошла этой темы и А. Онежская:

Ложь вокрут. Безликие лица.
 Заколдованный круг слепых.
 Боль Венгерской рапсодии Листа
 Станет ложью в руках толпы...
 («Всадники без головы»)

Венгерская революция зачалась в клубе им. Петефи будапештских поэтов. Под пение национального гимна и запрещенного «Воззвания» поэта Кёлчея — «Никогда не быть рабами — такова наша клятва!» — выступили первые демонстранты, ознаменовав этим начало Венгерской революции.

Поэзия предреволюционной Венгрии во многом переключается со стихами поэтов «Феникса». Вот, например, стихотворение, из-за которого автор Золтан Зелк получил выговор от тогдашнего венгерского министра культуры:

Коль народ под угрозой
 Смертоносной атаки,
 Ты ведь тоже не дрогнешь,
 Встретив дула орудий.

В этот день рука в руку,
 Вместе, — ты ведь умеешь! —
 Нацу чашу осушим
 Мы до капли, до дна.

Сравним со стихотворением Н. Нора «Нас очень мало. Мы очень слабы...»

Пускай нас мало!

Мы ждем! Мы верим!

Пусть мы погибнем!
Наш час настанет!

Или строки из стихотворения венгра Петера Куцки:

Я улицей пройду скорее голым,
Чем снова обрету привычку лгать.
(1956 г.)

Сравним со строками В. Ковшина:

Лучше вправду я стану безумным,
Только б на вас я не стал похож.

(«Мне говорили «не надо»...»)

Роль поэта в современной предпрозовой России получает особое звучание и вырисовывается на особый лад. Характерная черта: во время Октябрьского переворота и в течение последующих нескольких лет были уничтожены разными способами все лучшие русские поэты. В следующие тридцать лет коммунистическая Россия обходилась почти без поэтов и поэзии. Но теперь, когда страна стоит в преддверии новой эпохи, человек поднял голову и освободился от удушающего страха, — время стало рождать поэтов. И неудивительно, что «Феникс» — дитя этого времени — отдал из ста сорока своих страниц сто двадцать поэзии.

Поэт — человек, которому не только свойственны особые духовные и философские глубины, поэт не только пророк, но поэт — существо, для которого свобода — тот единственный и ничем незаменимый воздух, в котором он только и может жить. Не было преувеличением, например, когда говорили, что Блок умер оттого, что задохнулся.

Тема «поэт в предстоящей революции» возникает во многих стихотворениях и решается в каждом по-своему. Пожалуй, «программным», своеобразным революционно-поэтическим манифестом, можно считать стихотворение Н. Нора «Моим друзьям»:

Нет, не нам разряжать пистолеты
В середине зеленых колонн,
Мы для этого слишком поэты,
А противник наш слишком силен.

Но когда «возродится Вандея, тот гудящий, решительный час», надо будет определить свое место в событиях. И это место Н. Нор находит: поэт подвизается в области идей, там его подлинное место.

Нет, не нам поднимать пистолеты!
Но для самых ответственных дат
Создавала эпоха поэтов,
А они создавали солдат.

И действительно, роль глашатаев революции, ее вдохновителей и певцов, некоторые поэты «Феникса» уже выполняют. (Вспомним выше приведенное стихотворение В. Нильского «Ты, которому девятнадцать лет...», кончающееся призывом к восстанию).

Революционным призывом звучит и поэма А. Щукина «Люди, слушайте!», в которой он обращается ко всем, стараясь пробудить людей от рабской спячки к активной деятельности. Он просит понять «всё до конца». Как у А. Онежской стихотворение «Московское золото» построено всё на игре словами «золотой», так у Щукина строится поэма на употреблении слова «красный»:

Снег-то красный,
В России красной,
На площади Красной
Снег выпал красный,
И люди видят, не спят.

Красный от расстрелов снег заставляет поэта прямо обратиться к советскому правительству и с угрозой и гневом воскликнуть:

Довольно, хватит!
Товарищи в Советах,
Вспомните семнадцатый,
Забьли что ли?
Сегодня сплошь
Она в поэтах,
Шестидесятая Россия!

Здесь мы снова сталкиваемся с этой удивительной темой — «поэт в революции». Наличие большого количества поэтов в России звучит залогом освобождения страны. Поэты — народ беспокойный, отчаянный, свободолюбивый. Им море по колено! И хоть их мало, по уверению Н. Нора, поэтов, обуюнных мечтой о

свободе, «шестидесятников» двадцатого века, и силы их слабы, а диктатура прозлит им «дорогой дальней, толпы презрением» и говорит им: «Отрекийтесь. Согните спины. В прехах покайтесь. И пойте славу пустой похлебке...», — они стойки и мужественны. Эта молодежь нашла для себя выход из общего тупика в служении России, и в этом служении столько беззаветной веры в свои силы, столько жерлвенности и горячей молодости, что невольно начинаешь верить их верой в то, что «постепенно нас станет больше

И мы подточим гнилые доски
Харчевни вашей, где мрак и сырость...

В своем порыве служения они готовят себя и к смертному подвигу: «положить душу свою за други своя».

Пусть мы погибнем!
Наш час настанет!

Грозная музыка революции приближается. И в ней улавливают они обращенный к ним призыв:

Надвигается грохот,
Расползается звук,
Слышен рокот и ропот —
Нас зовут, нас зовут.

В отличие от Н. Нора, считающего, что не поэтам «поднимать пистолеты», Ан. Владимиров готовится и к этому тяжкому подвигу:

Мы придем не пустыми
В час свержения вер.
В нашей кобуре стынет
Голубой револьвер.

* * *

Еще одна новая тема вливается в общий поток революционной поэзии; в приводимом выше отрывке из поэмы А. Щукина «Люди, слушайте!» поэт напоминает правительству о семнадцатом годе, годе трагических свершений в России. В нескольких строках поэмы Щукин сатирическим приемом восстанавливает

исторические события тех лет, заставляя советское правительство «лично» рассказать, как всё происходило:

Нам цари горло резали,
горло резали, не дорезали.
Перелезли мы во седой во Кремль.
И издали указ обо всех земель.
Стали править мы
да покрикивать.
Стали строить мы
да побрякивать.
Сказки новые
стали сказывать,
песни новые
распевать.

Но прошли десятилетия, и ничего, по Щукину, не изменилось по сравнению с царской Россией; всё осталось по-старому: народ так же голоден, так же разут. Как и во времена крепостной России —

Где сейчас не так,
там бунт,
аль народ
дурак.

Семнадцатый год — та роковая дата, с которой, как считают молодые поэты, следует начинать пересмотр всех дел России, которую новое правительство пустило по миру. Поэты чувствуют и здесь всю ответственность своего положения, ощущают свой долг перед русскими людьми, от которых идет услышанный и воспринятый Ан. Владимировым призыв: «Нас зовут, нас зовут!» А. Щукин перекликается в этой теме с А. Шутом, который еще энергичнее и яснее выражает их общее стремление:

Поднимайтесь
Поднимите
Всех на митинг
Все на митинг.

Здесь, на митинге, произносится пламенная и прозная речь, также обращенная к недорезанным самозванцам, перелезшим «во седой во Кремль»:

Довольно из торгов
 Историю делать
 Восторгом сомнительным
 землю обув
 Мы призваны переделать
 записи главбуха
 Мы равноправные
 правнуки
 Семнадцатого года
 Мы приправа
 к правде
 Которую уродуют...

 Свергнем веру
 В изувера
 Веру в сверхчеловека.

(«Звуки»)

Так сменяется «век крушения вер» «веком свержения вер...»

* * *

Прямую связь между ожидаемой поэтами «Феникса» войной и назревающей революцией устанавливает в своей поэме «Человеческий манифест» Ю. Галансков. Наряду с уже знакомыми нам мотивами осуждения всей атмосферы советского общества и государства, рождается открытый призыв не верить правительству, готовящему под взывающими к миру во всем мире лозунгами, третью мировую войну.

Министрам, вождям и газетам — не верьте! —

горячо предупреждает поэт. Из создавшегося безвыходного положения существует один выход:

Вставайте!
 Вставайте!
 Вставайте!
 О, алая кровь бунтарства!
 Идите и ломайте
 Гнилую тюрьму государства!

И это следует делать потому, что «вырезать язвы войны» можно лишь «священным ножом мятежа». Но кто возьмет на себя роль гегемона *новой* революции? По аналогии с событиями в октябре 1917 года poet ищет славных представителей российского рабочего класса:

Где они?

Или их вовсе нет? —

Вон — у станков их тени

прикованы горстью монет.

Увы, надежды на этих людей, — идеалистов в прошлом, доблестных революционеров, участников Пражданской войны, — уже нет. Они, как их дети и внуки, закабалены именно той самой «рабоче-крестьянской» властью, которую с такой верой в светлое будущее отвоевывали они для России.

Но необходимо ли по образцу прошлого искать определенный класс людей, могущих совершить революцию? Перед поэтом возникает проблема: с чего начинать — с общественной группировки или личности?

Ю. Галансков обращает свое внимание на *личность*. Страшна революция внешняя без революции внутренней, которая подготавливает человека к резким внешним переменам. Если бы идея коммунизма не была бы порочна в своей сущности, можно было бы привести Октябрьский переворот в пример революций внешних. По сути коммунистическая пропаганда и по сей день занята тем, чтобы задним числом перестроить человеческую личность соответственно требованиям коммунистического нового общества. Ю. Галансков идет противоположным путем: он считает, что сначала надо каждому приготовить свои сознание и душу, очистив их от всех наносов подлости, чтобы они смогли принять на себя ответственность за предстоящие события и сыграть в них достойную человека роль. Приемом раннего Маяковского (ср. с поэмой «Война и мир», трагедией «Владимир Маяковский» и др.) Ю. Галансков на собственном примере показывает людям путь очищения для принятия сана «Бунтовщика».

Первый акт трагедии — отчаяние от окружающих поэта людей:

Человек исчез.

Ничтожный, как муха,

он еле шевелился в строчках книг.

Выйду на площадь

и городу в ухо
втисну отчаянья крик...

Второй акт — из отчаянья вырастает решение уйти из этого мира. Поэтому остается лишь, «пистолет достав», прижать «его крепко к виску». Ему «уже нечем дышать» среди людей, приветствующих «Подлость и Голод!» Для поэта чистота его души дороже жизни:

Не дам никому растоптать
души белоснежный лоскут.

Третий акт: самоубийство. Мужество поэта непоколебимо. Он ощущает в себе стремительное падение вниз:

Падаю!
Падаю!
Падаю!

Его отказ от такой жизни бесповоротен:

Вам оставляю лысеть, —

обращается он к окружающим его поклонникам Подлости.

Не стану питаться падалью —
как все.
Не стану кишкам на потребу
плоды на могилах срезать.
Не нужно мне вашего хлеба,
замешанного на слезах.

Всё кончено. Прощанье с жизнью совершилось. Но... именно в этот момент падение вдруг начинает сменяться взлетом «в полубреду, в полусне». И кончается окончательным взлетом ввысь:

Я чувствую, как расцветает
человеческое
во мне.

Кризис окончился не смертью, а духовным преображением. Претерпев смертную муку, душа поэта, как бабочка выпрвалась из серой мертвой оболочки куколочки и во всей новой своей силе и

красе взмывла вверх. Свое второе — духовное — рождение поэт сравнивает с «явлением миру Христа». В нем

восстал
растоптанная и распятая
человеческая красота.

Во всем своем новом величии предстает поэт перед людьми, лица которых «жизнью изгаженные». И они потрясены. А поэт, обрел новое право — священное право на бунт — заявляет миру:

Это — я,
призывающий к правде и бунту,
не желающий больше служить,
рву ваши черные путы,
сотканные из лжи.

Но внутренне вырвавшись из рабства, он остается еще в тисках внешних. Новоявленным Прометеем, прикованным к скале, стоит он, напоминая собой в то же время и пламенных христианских проповедников первых веков:

Это — я,
законом закованный,
кричу человеческий манифест!
И пусть мне ворон выклевывает
на мраморе тела
крест!

Кстати вспомним, что осенью 1961 года на «плахе-плацу» имени Маяковского публично выступил с чтением «Человеческого манифеста» бывший редактор подпольного журнала «Синтаксис» Гинсбург, отбывший перед тем двухлетнее тюремное заключение за свою редакторскую деятельность.

В этом же героическом ключе написана и вторая поэма Ю. Галанскова «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», в которой поэт обращается уже не к народам России, как в «Человеческом манифесте», а к народам всего мира. Бунтарь призывает подняться против «диктаторов и дипломатов» в «опрометном всемирном мятеже». Заря и Рассвет новой жизни — предупреждает он — ожидает лишь тех, кто мужественно обретет себя в борьбе за человеческую правду.



На этом кончаю свои заметки о журнале «Феникс». В стороне осталась одна важная тема: творческая лаборатория поэтов «Феникса». Этому следовало бы посвятить отдельную статью. Литературные подпольные журналы современной российской молодежи представляют собой, образно выражаясь, алхимические реторты, в которых бурно вскипает фантастическая смесь. На дно их то и дело выпадают слитки чистого горячего золота в виде ли отдельных произведений поэтического искусства или цельного творчества поэта. Читая их, мы непосредственно касаемся таинства рождения новой российской поэзии.

Беседы с памятью

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

Первый наш переход из Италии в Россию был на редкость удачен и приятен.

Правда, после вторичного посещения Мессины у нас осталось опять тяжелое впечатление не только от общей картины, а еще и от того, что на ее окраине, среди развалин, мы увидели высокую широкоплечую худую старуху. Она стояла и, воздев к небу руки и утробая кому-то сжатými кулаками, громко проклинала... Это продолжалось долго. Когда мы возвращались на пароход, она всё еще что-то выкрикивала.

В первом классе, кроме нас, был всего один пассажир — лицеист из Петербурга, проигравшийся в Монте Карло. Он с грустью возвращался самым дешевым путем, проехав быстро через Италию. Кроме рулетки, он увлекался автомобилем, уверял, что лучшее удовольствие, какое он знает — «поглощать пространство».

Иногда мы проводили с ним время на спардеке и вели беседы на разные темы. Зашел спор о социальной несправедливости. Лицейист был правого направления. Ян возражал:

— Если разрезать пароход вертикально, то увидим: мы сидим, пьем вино, беседуем на разные темы, а машинисты в пекле, черные от угля, работают и т. д. Справедливо ли это? А главное, сидящие наверху и за людей не считают тех, кто на них работает. Как вы себе в этом не отдаете отчета?

См. «Новый журнал» № 64, 1961 г., «Беседы с памятью». Италия. Посетив Италию, побывав на Капри у Горького, Иван Алексеевич Бунин с Верой Николаевной отправились в Россию на итальянском пароходе. См. также «Грани» №№ 47, 48. — Р е д.

Подружившись с моряками, мы везде побывали, куда обычно пассажиров не пускают.

Я считаю, что здесь зародился «Господин из Сан-Франциско».

В Афинах мы успели съездить опять к Акрополю. Опять удивлялись, видя женщин во всем черном, — а было жарко. Мы еще более полюбили белый город с плоскими крышами, а синее небо напоминало нам незабываемые дни в Риме.

На стоянках, после обеда, моряки приносили свои мандолины, гитару и вполголоса пели неаполитанские песни, а Ян имитировал тарантеллу и так удачно, что приводил всех в восторг.

В Константинополе мы простояли двое суток, сходили несколько раз на берег. Опять побывали в Айя Софии; вблизи Сераля посидели на берегу Мраморного моря, которое в этот раз не было мраморным, каким было, когда мы впервые шли по нему два года тому назад. Ян много и интересно вспоминал о своем первом пребывании в Константинополе, о дервишах, которых мне так и не довелось увидеть. Об этом он уже написал, но я могла без конца его слушать. И как часто он строил планы о новых путешествиях и всё повторял, что «вдвоем это просто и легко».

Накануне ухода в Одессу мы устроили прощальный вечер с музыкой и тарантеллой. Кроме нас и Исаева, пассажиров не было. Мы угощали моряков. Опять асти, пение, танцы. Когда подходили к Одессе, то мы уже со всеми были в большой дружбе. Я уже знала, сколько тонн в нашем «итальянце», какие рейсы он сделал на своем веку, какой его возраст. Кто-то из моряков говорил по-французски. Подружились мы и с милой, уже пожилой, седеющей горничной.

Моряки пригласили нас при прощании к себе завтракать — мы тоже, как и они, должны были задержаться в Одессе.

На этот раз мы остановились в Крымской гостинице, менее дорогой, чем Петербургская — поиздержались.

Ян сразу переговорил по телефону с Нилусом, и они условились, что Петр Александрович известит о нашем приезде Куровского и Федорова, а последний должен быть в этот день в городе, — он с семьей уже переехал на дачу за Большой Фонтан.

Днем мы все повидались. Ян пригласил на следующее утро друзей к завтраку на пароход, а Куровский позвал нас к себе обедать, сказав, что Вера Павловна обещала приготовить любимые греческие блюда Яна.

К моему большому удивлению, когда мы остались одни, Ян сказал, что я завтра не должна завтракать на «итальянце», так как там будут одни мужчины, и я могу их стеснять.

Но две недели на «итальянцге» я была единственной женщиной, если не считать нашей горничной. Ян ответил, что после службы за мной зайдет Павлыч Куровский и я отправлюсь с ним куда-нибудь.

— Павлыч отказался с нами завтракать: у него служба, кроме того, он перестал не только пить, но и курить. И ему надо быть подальше от всяких соблазнов. После службы он зайдет за тобой и вы отправитесь с ним куда-нибудь, где ты еще не бывала.

Я не возражала, хотя мне было юбидно, — хотелось еще раз побывать на пароходе, где так безмятежно мы прожили полмесяца.

*

На следующее утро Ян с Федоровым и Нилусом отправились на завтрак к итальянским морякам. После ухода Яна мне стало грустно, и я одна поехала на Малый Фонтан, чем очень удивила одесситов. У них были странные взгляды на женщин.

А мне очень хотелось побывать еще раз на пароходе, где было так хорошо и в смысле плавания, и в смысле знакомства с морской жизнью, которая меня привлекала с детства.

Сидя на берегу моря, я вспоминала густую лилово-синюю воду в Архипелаге, здесь она была иного тона, бледнее, казалась менее густой. Оставалась я там недолго. Вернулась в город, пошла завтракать к Брунсу. Там почти никого не было. Одесситы тоже были удивлены, что я одна вошла в пивную. После четырех часов зашел за мной в отель Куровский и мы поехали с ним, по его предложению, на паровичке к морю и высадились на ближайшей станции около приморских дач. Опять я была у моря. Он очень любил ходить пешком, мечтал, что летом отправится с Шуриком на Кавказ и там они вдоволь походят. «Мои дамы этого не любят», заметил он, смеясь.

Мы шли вдоль берега, смотря, конечно, на море, шли молча. Неожиданно он заметил своим сочным баритоном:

— Видите, как по-особенному изогнут дым на пароходе? Я никогда не видел такого изгиба. Я заметил, что всякий раз, когда я где-нибудь бываю, всегда вижу хоть какой-нибудь пустяк, но по-новому. Поэтому нужно как можно чаще куда-нибудь отправляться, и не пожалеешь.

Куровский, действительно, был редким спутником, замечал не хуже Яна то, что проходит мимо глаз большинства людей.

Часам к шести мы поехали прямо к Куровскому, но нашей тройки еще не было. Стали ждать, сидя на бревнах, лежавших во дворе музея. На них сидели дети Куровских. Я стала вниматель-

но всматриваться в них, стала их расспрашивать. Все они говорили скороговоркой. На вопросы они отвечали, но сами не проявляли никакого интереса к нашему путешествию.

Старшая Оля, уже вступившая в возраст, когда можно было выходить замуж, была хорошенькой белокурой гимназисткой. Ее сестра Таня, вероятно, годом или двумя моложе сестры, брюнетка с темными глазами, была задумчива. Я подсела к ним. Я не почувствовала у этих сестер никаких стремлений, ни запросов, зато их брат, моложе на несколько лет, был живой черноглазый мальчишка, очень забавный, что-то обещавший.

Их мать, Вера Павловна, была на кухне и вместе с кухаркой готовила любимые блюда Яна. Вообще я заметила, что, кроме Куровского, никто меня не расспрашивал, что мы видели, где собственно были, точно мы приехали из деревни.

Хозяйка отсутствовала. Детям, видимо, хотелось есть. Они приставали к отцу, когда же приедут гости. Он стоял поодаль и внимательно смотрел куда-то вдаль, на море.

Часов в семь вышла к нам и Вера Павловна со словами:

— Всё готово. Боюсь, что жаркое пережарится и пирожки остынут, хотя я и закрыла их салфетками, а холодные блюда — плаки, креветки, любимые Иваном Алексеевичем, и кефаль погречески уже на столе.

Стала меня расспрашивать об Италии, но как это часто бывает, быстро меня перебила и начала вспоминать о путешествии по Швейцарии, где они побывали два года тому назад. Она больше всего восхищалась утренним завтраком, его изобилием, возможностью быть сытыми чуть ли не до обеда.

Время тянулось медленно, как всегда, когда ожидаешь кого-нибудь. Было непонятно: как бы ни затянулся завтрак, всё же к семи часам можно было бы вернуться. До восьми часов вели разговор, хотя и вяло. После же восьми стало всем не по себе: Вера Павловна волновалась за обед. Дети бегали на кухню и, схватив пирожок, возвращались довольными к нам. Я внутренне возмущалась таким неуважением к хозяйке дома. Куровский продолжал стоять молча в отдалении.

Наконец, около девяти часов, явились, и все трое на взводе. У всех вид был независимый: видимо, моряки их хорошо угостили, да, может быть, и по дороге с парохода они заглядывали в разные места.

Я было на них накинулась: «Что за неуважение к хозяйке...», но, к моему изумлению, хозяин мне тихо сказал:

— А я им только завидую... Хорошо погуляли!..

Больше всего удивило, что никто не извинялся перед Верой Павловной, да и она не очень сердилась.

Я сдержала свое возмущение.

Сели за стол. Все набросились на еду и спиртное. Оказалось, что с парохода они ушли вовремя, но по дороге из порта в город заходили и заходили то в кофейню, то в погребок.

Обед прошел не очень весело. Нилус говорил хозяйке, что ее дочери «два цветочка», Федоров стал мрачным — у него не было денег, а, кажется, в этом году они решили (строиться, уже купили землю, за которую приходил срок платить, и он выкрикивал:

— Это удав... строить дачу, не имея свободных денег, но это-го хочет Лидия Карловна!

Как только кончился обед, я увела Яна домой.

*

Этой весной открывался в Москве памятник Гоголю по случаю столетия со дня его рождения.

Ян не торопился с отъездом. Ему хотелось уклониться от всяких торжеств. Но, как всегда, он мне прямо об этом не говорил, а на мои вопросы отвечал уклончиво.

Нилус сообщил ему, что Буковецкий приедет к нам, чтобы познакомиться со мной.

Дня через два я познакомилась с художником Буковецким, о котором слышала много самых разнообразных мнений. Он в назначенное время заехал за нами в коляске, с бархатной подушечкой для моих ног, и предложил нам поехать прокатиться к морю, а затем у него отобедать. Меня немного сместили эти провинциальные церемонии, но я, конечно, не показала и виду.

Буковецкий был выше среднего роста, изящный, в меру худой, с правильными чертами лица, с волнистыми каштановыми волосами. Он обладал очень хрупким здоровьем, в молодости страдал сильнейшими мигренями и пролеживал в темной комнате по несколько дней сряду. Это был человек с большим вкусом и с причудами, со строгим распределением дня. Он года два тому назад пережил тяжелую драму: жена разошлась с ним и вышла замуж за его родного племянника. (Федоров в романе «Природа» взял его прототипом главного героя и предсказал развод). Теперь он жил один, но всё свободное время от работы и всяких личных дел — свои досуги — он делил с Петром Александровичем Нилусом, с которым жил в самой нежной дружбе.

Кроме писания портретов и ежедневной игры на рояле по вечерам, Буковецкий ничем больше не занимался (Петр Алек-

сандрович Нилус вел все его дела). У него на самом верху дома была прекрасная мастерская, устланная коврами, с удобной мебелью и огромным окном над тахтой. В этой студии было много икон, которые он собирал — весь их кружок увлекался антикварством.

Буковецкий, «враг вообще всех одесских жен», ставивший очень высоко дружбу, устраивавший мужские обеды по воскресеньям, оказал мне внимание. Говорил он немного, кратко, но метко. Мы проехали по самым лучшим улицам Одессы через Маразлиевскую и по Французскому бульвару к морю. Вышли из экипажа, немного прогулялись. Все было чинно, по заранее обдуманной программе. Потом отправились обедать на Княжескую, где у Буковецкого был доходный дом, а для себя он выстроил особняк в два этажа, с большим вкусом и удобствами.

Подъехав к нему, мы вошли в высокие двери парадного входа. Меня поразили вестибюль: на стене висело огромное панно в зеленых тонах. Тут же стоял длинный загибающийся диван, перед ним — стол с высокой лампой.

Хозяин повел нас наверх по широкой лестнице с красивыми деревянными темно-коричневыми перилами. Двухэтажный особняк Буковецкого внутри был весь обшит темным деревом. С просторной площадки небольшая дверь вела на балкон, рядом находилась уютная гостиная и огромная мастерская — почти во всю стену окно на север — с мольбертами, подрамниками и несколькими портретами. В этом особняке была и картинная галерея с произведениями хозяина и местных художников. Больше всего было этюдов. Но я не успела в этот раз ознакомиться с картинами.

Все комнаты были очень высоки и просторны. Мы спустились вниз, и Буковецкий показал мне свой кабинет и спальню. Мне и в голову не пришло, что в этих комнатах мы будем жить лет через десять.

Первая из них была кабинетом и библиотекой. Большой письменный стол, вертящиеся открытые полки для энциклопедического словаря. По стенам дубовые шкапы с книгами. По узкому проходу мы прошли в его спальню. Мягкий диван для дневного отдыха. Кровать с ночным столиком, на котором лежала одна книга. Буковецкий, усмехнувшись, сказал:

— Нельзя читать сразу две книги, а у некоторых на ночном столике лежит даже несколько.

После осмотра всего, мы прошли в столовую, где застали Нилуса, который собственно делил с Буковецким жизнь и имел в

этом же доме свою чудесную мастерскую. Были приглашены к обеду Куровский и Закзе, но без жен.

Большая столовая очаровала меня: мебель красного дерева, стол без скатерти. Обед начался оригинально: на первое подали рыбу с холодным старым вином, затем суп. Почему-то Буковецкий находил, что нужно начинать всегда с рыбы. К жаркому было подано хорошее, в меру подогретое красное вино. Вина, кушанья были утонченные.

Кофий подали в вестибюль. Мы сели за стол под лестницей. Уже за обедом царило оживление, а тут наступило настоящее веселье. Ян представлял отсутствующих приятелей, а иногда и присутствующих друзей, Буковецкий вставлял меткие замечания, Куровский, немного кривя рот и, будучи трезв, выражал оригинальные мнения, один Нилус был молчалив. Он поднялся на несколько ступеней по лестнице и сверху через перила смотрел на нас задумчивым взором.

— Что с тобой, Петр, отчего ты все молчишь? — спросил Ян.

— А вы не находите, что он похож на паучка, — заметил Буковецкий, — поднимающегося по паутине вверх?

Все засмеялись, согласились.

Потом говорили, что с этой зимы на одесских воскресниках бывают новые лица: профессор по русской литературе Лазурский, который в пору своего студенчества был репетитором сыновей Толстого и жила в Ясной Поляне, профессор по уголовному праву Михайлов, очень любящий живопись и старинные вещи, хорошо в них разбирающийся, наконец, доктор Ценовский, музыкально одаренный человек, он полюбил всех художников, пописывает в газетах.

— Вот ты с ними познакомишься в будущее воскресенье, — обратился Буковецкий к Яну.

Мне стало опять грустно: все эти встречи у Яна будут без меня.

Зашел разговор об открытии памятника Гоголю в Москве. Я сказала, что хорошо знаю автора его проекта Николая Андреевича Андреева. Меня спросили, что он за человек. Я ответила, что внешность у него не художественная, а так он милый, мы с подружкой бывали в его опромной мастерской, где во втором этаже, в меньшей комнате пили чай и вели бесконечные разговоры. Он не женат, но у него много романов. Некоторых из нашего круга он лепилню. Бывала я у него ежедневно, когда меня на его дворе писал художник Зайцев, этюд которого висит у нас в гостиной

над полукруглым диваном — это подарок за то, что я ему позировала для портрета.

Конечно, от Буковецкого мы всей компанией пошли к Брунсу. Там встретили Тича, как называли художники Лепетича, человека очень веселого, живого, одаренного. Он писал, кроме картин, и стихи, которые Ян иногда устраивал в газету. Тич все время острял, когда смеялся, как-то смешно пригибался к столу, был неистощим на каламбуры, вызывая дружный смех. За это его приятели любили, но и немного опасались, так как он всегда бывал без копейки и срывал займы без отдачи с кого только мог.

Говорили и о Федорове. Он ходил с расстроенным лицом, как всегда, когда ему нужны были деньги. Мы видели его в этот день мельком. У Александра Митрофаньча необыкновенно ярко на лице отражались все чувства. Казалось, что он метался по Одессе, ища человека, у которого можно было бы занять.

*

Я всё добивалась от Яна, когда мы уедем. Здесь мне было одиноко, иногда я заходила к родственникам, обедала у них. Гуляла с дядей по Одессе. Раз мы встретились с Яном на улице. Я познакомила их. Володя сказал:

— Мне говорили, что Иван Алексеевич худой, а между тем он полный.

И правда, в первый и последний раз у Яна были полные щеки, вот что значит спокойное полумесячное пребывание в море.

Мне хотелось попасть на открытие памятника. Хотелось посмотреть на эту процедуру, побывать на докладах, раутах. В Думе я всегда бывала на подобных торжествах, и мне всегда бывало весело. Но Ян медлил: то ему хотелось побывать у Буковецкого, то на «Четверге», то нужно было повидаться с редактором газеты, которого в данный момент не было в Одессе. Но, конечно, он оглынивал. Я потом поняла: ему не хотелось быть в эти торжественные дни в Москве. Могли его попросить выступить где-нибудь, а он терпеть не мог всяких публичных выступлений.

Я огорчилась, — мне хотелось присутствовать на открытии памятника. Этого я никогда не видела. Звала и моя семья, отец был членом городской управы, значит, если даже я приехала бы в Москву одна, то я могла бы быть с ними на открытии.

Я стала просить Яна, чтобы он отпустил меня одну, но он неожиданно сказал:

— Подожди, может быть, я еще и передумаю, и мы поедем вместе.

Но он всё оттягивал и оттягивал и помешал мне присутствовать на гоголевских торжествах. А меня, как я ни просила его опустить меня одну, не отпускал, думаю от ревности. Он этого не говорил, но я чувствовала. Знал, что мне было бы весело, а ему не хотелось, чтобы я веселилась без него. И мы попали в Москву только после окончания этих торжеств.

Юлий Алексеевич и Грузинский укоряли Яна, что он опоздал. Не помню, что он отвечал. Рассказов было без конца.



По приезде в Москву Ян сразу стал торопиться уехать, — была больна его мать. Побывали у тех, кто присутствовал на открытии памятника Гоголю и на всяких заседаниях и раутах. Побывали мы и у Зайцевых. Они много рассказывали. Говорили и про скандал на докладе Брюсова. В Москве очень им возмущались, говорили, что это не торжественная речь. Люди шикали, свистели. Робкие аплодисменты слабо боролись со свистом. Рассказали Зайцевы и о рауте в Думе, где они весь вечер провели с Розановым. Мне было обидно. Я с Розановым не была знакома, но и я могла бы провести с ним весь вечер. Он был приятелем Алексея Васильевича Орешникова, отца Зайцевой, и я, конечно, сидела бы с ними.

Памятник большинству не понравился. Мы, конечно, чуть ли не в первый день побежали к нему, тем более, что он стоял близко. Впечатление было немного странное, а для простого зрителя, конечно, памятник был непонятен. Андреев взял Гоголя в последний период его жизни. Как-то я гуляла с мамой по Пречистенскому бульвару, и мы встретили своего свойственника Вячеслава Гавриловича Ульянинского, очень тонкого знатока картин, офортов, правюр. Он сказал: «Мне не нравится памятник, потому что он не отвечает главным целям — памятник должен быть всем понятен, характерен для всей жизни того, кому он поставлен, и импозантен. Конечно, художественные достоинства в нем есть, но их поймут немногие».

Мнения о памятнике были различные. Рассказывали о том удивлении, которое он вызвал, когда спала с него завеса. Словом, Москва до лета переживала впечатления торжеств по случаю столетия со дня рождения Гоголя.

У меня есть письмо Ивана Алексеевича к Нилусу от 13-го мая 1909 года. Вот выдержки из него:

«...я еще в Москве, задержало меня «Сев. Сияние» и еще кое-какие делюшки. Будет ли существовать это самое «Сияние» — не

знаю. Может быть, и умрет, но думаю, не раньше августа. До августа можно скрипеть, но и то при условии, что Бобринская сдержит свое обещание и даст (обещала на днях) тысячи четыре. А делишки ее, кажется, плохи, ибо я чуть не сделал скандала, будучи раза три обманут при получении двухсот рублей, следуемых мне за март и апрель (сегодня-таки получил). Шальная баба! Обещала дать на этот год тысяч двадцать, втянула меня, — и заставила втянуть и товарищей, — и вдруг заявила, что бросает журнал и дает вместо 20 — 4 тысячи! Будь по сему спокоен: пришли нам рассказ (адресуй его мне — Измалково Орловской губ.), а если мы — за смертью журнала, — не успеем его напечатать (хотя пустим очень скоро, — в ближайшую книгу) — считай, что возвращать двести рублей ты не обязан. Да, это обычная история при кончинах журналов, — и литературная этика не карает за это. — Но, повторяю, надеюсь на существование «Сияния» до сентября (на сентябрь обещал рассказ Андреев — и уже взял авансу 100 рублей), а, может быть, и на гораздо более продолжительное. Гальберштадт (секретарь «Сияния») был нынче у Сытина и предложил ему взять «Сияние» в свои руки — бесплатно. Но Сытин спешил на вокзал, в Петербург, и ответил только одно: «Ив. Алексеев. вернулся. Ах, так вот мы с ним потолкуем в субботу 16-го. У меня к нему опромное дело литературное». И после сего позвонил ко мне и очень, очень просил меня остаться до субботы. «Я подумаю», ответил я. И, может быть останусь, хотя у меня опять беда: больна мать. Ежели останусь до субботы, то все-таки выеду в субботу вечером — вместе с братом Юлием. (Вера приедет в деревню в конце мая, а Коля уже уехал: повалил на себя горящую лампу, запылал, спасся, накинувши на себя одеяло, но все-таки обжегся, обрился — и удрал). Юлий взял заграничный паспорт — и будет вместе с другим племянником, Митей, 30 или 29-го в Одессе, откуда хочет отплыть в Константинополь, Смирну и Афины. Дальше ехать не хочет — надо побыть и у своих.

Холод в Москве зверский. Коля пишет из деревни, что ходит в полушубке.

100 рублей я тебе отослал — уже несколько дней тому назад. Когда уезжаешь? И куда? Брату хочется очень повидать вас всех.

Целую тебя, Евгения и всех милых сердцу моему.

О Ценовском говорил в «Рус. Слове». Дорошевич ответил, что

постоянного ничего не могут предложить — много материалу. Поговорю в «Рус. Вед.», хотя зачем всё это? Посылала бы Ант. Ант. прямо — и дело с концом.

Твой Ив. Бун.»

Не помню, по какому делу хотел с ним поговорить Сътин. Не помню точно, с какого вокзала они с Юлием Алексеевичем уехали. Вероятно, с Курского, чтобы попасть прямо в Ефремов.

Я осталась до июня, к радости моей семьи и друзей, в Москве.

*

В июне я поехала в Васильевское, тоже не помню, каким путем.

На душе у меня было нехорошо. Никаких переводов у меня не было. Денег карманных тоже. Я, начав делить жизнь с Яном, отказалась от той суммы, которую мне ежемесячно давал отец. С восьми лет я получала от него сначала 1 рубль на церковь, а с годами сумма выросла. Я уже писала, что никогда ничего не просила, не обращалась я за деньгами и к Яну, а он не думал, вероятно, не привык думать, что и рядом с ним человеку нужны какие-то деньги на личные расходы. Был совершенно равнодушен к тому, как я одевалась, но об этом думала мама. Кроме того, на меня произвело тяжелое впечатление их опоздание на обед к Куровским, а, главное, то, что они и не чувствовали себя виноватыми. Меня удивляло их бесчувствие к тому, что переживала хозяйка, волнуясь за обед, потратив целый день на его приготовление.

Нашла записи, сделанные Иваном Алексеевичем во время моего отсутствия, когда он жил в Васильевском. Кое-что из этого вошло в его «Деревню».

«26 мая 1909.

Перед вечером пошли гулять. Евгений, Петя и дьяконов сын пошли через Казаковку ловить перепелов, мы с Колей в Колонтаевку. Лежали в сухом ельнике, где сильно пахло жасмином, потом прошли луг и речку, лежали на Казаковском бугре. Теплая, слегка душная заря, бледно аспидная тучка на западе, в Колонтаевке цоканье соловьев. Говорили о том, как бедно было наше детство — ни музыки, ни знакомых, ни путешествий... Соединились с ловцами. Петя и дьяконов сын ушли дальше, Евгений остался с нами и чудесно рассказывал о Доньке Симановой и о ее муже. Худой, сильный, как обезьяна жестокий, спокойный.

«Вы что говорите?» И кнутом так перевьет, что она вся винтом изовьется. Спит на спине, лицо важное и мрачное...

11 июня 1909 г., возвращаясь из Скородного.

Утро, тишина, мокрая трава, тень, блеск, птицы и цветы. Преобладающий тон белый. Среди него лиловое (медведьи ушки), красное (кашка, пвоздика, иначе Богородицына трава), желтое (нечто вроде желтых маргариток), мышинный розовый горошек... А в поле, на косогоре, рожь ходит зыбью, как какой-то великолепный сизый мех, и дымится, дымится цветом».

*

Когда я приехала в деревню, то застала дом не в веселом настроении. Узнала о смерти Валентина Николаевича Рышкова, последовавшей после операции в Москве: у него был рак. Софья Николаевна жила в большом огорчении, — она любила кума и его семью с детства. Она была мнительна: стала бояться, что и у нее эта болезнь, начала ездить по докторам и по знахаркам. Съездили с Александрой Петровной, их бывшей служгой, и к мощам Тихона Задонского.

В прежние годы я часто заходила в ее комнату и вела беседы о семье Буниных, и мне было интересно узнавать то, о чем не рассказывал Ян. Но в это лето ни о чем, кроме ее «страшной» болезни, она не могла говорить.

На меня напала тоска. Не было никакого определенного дела. Я предложила Яну, что буду заносить в свою тетрадь погоду, в какую он писал те или иные стихи, читанные им нам на прогулках. Он замахал руками:

— Зачем это, неужели ты думаешь, что кого-нибудь может заинтересовать это? Я и черновики все рву.

— Ты лучше бы мне их отдавал. Я сохранила бы их.

— Что за глупости! Кому это интересно?!

— Да хотя бы мне...

Но из этого ничего не вышло. Я с горя стала читать Брэма об обезьянах. Было занимательно, и иногда за прогулкой я начинала о них рассказывать. Но через несколько дней Ян перебил меня:

— Ты помешалась на обезьянах...

Я замолчала. Я тогда еще не понимала, что ему нужно, и интересно было вести разговоры *только* о том, что в данное время его занимает. Вообще я не сразу поняла, что такое делить жизнь с творческим человеком. Поэтому порой сильно страдала.



Лето было на редкость дождливое, с ветрами и холодом. Ян жаловался, что плохо спит, что голова у него тупая, и он не может писать.

Но всё же 3 июля он написал «Сенокос» (который впоследствии чуть проредактировал, когда помещал его в «Избранные стихи», изданные в Париже «Современными записками»).

В мое отсутствие, в мае, он написал стихи «Колдун», стихи мне очень понравились. Уничтожено было заглавие, когда он включил это стихотворение в «Избранные стихи», а при последней редакции, перед смертью, он колдуна назвал лесником.

9 июня написал «Мертвая зыбь», 10-го — «Прометей в пещере».

10 июля написал Нилусу письмо, в котором есть интересные места:

«Милый Петр, весьма желаю успеха! Только не очень ли уж старческую вещь хочешь ты написать? Ну, жил приятно, эгоистично, стареет, но ведь понял же, что есть более человеческая жизнь, а разве малого стоит это понимание, разве оно не открывает радостей человеку, который, подобно Лишину, все же природы не совсем уж обычной? — При работе это мое замечание м. б. тебе пригодится...»

В конце июня у него поднялась температура и он слег в постель. Конечно, и он, и Пущешниковы перепугались. Меня опять удивляло, как в деревне боятся всякого, даже самого легкого, заболевания.

К счастью, болезнь скоро прошла, и он повеселел, мы стали опять по вечерам гулять, и возобновились бесконечные разговоры о литературе. Он бранил Златовратского, говорил, что хочет написать длинную вещь из жизни деревни. Много Ян говорил о Николае Успенском, которого погубило пьянство, довело до самоубийства. А талант у него был «замечательный», «Глеб, его двоюродный брат, иногда прибегал к его помощи, — он лучше знал мужиков, их язык».



Как всегда, на Кирики съехались родные Яна и привезли весть, что сестра Маша сошлась с мужем. Они будут жить в Орле, а мать останется в Ефремове с Женей.

Много было разговоров у Яна и с родными, что ему хочется написать длинную вещь, все этому очень сочувствовали, и они с Евгением и братьями Пущешниковыми вспоминали мужиков,

разные случаи из деревенской жизни. Особенно хорошо знал жизнь деревни Евгений Алексеевич, много рассказывал жутких историй. Он делился с Яном своими впечатлениями о жизни в Огневке, вспоминал мужиков, их жестокое обращение с женщинами. У Евгения Алексеевича был опромный запас всяких наблюдений. Рассказывал он образно, порой с юмором.

Ян поехал их провожать в Ефремов, чтобы повидаться с матерью. Выехали они рано в чудное июльское утро, я вышла их проводить и потом пошла по липовой аллее, по которой они проехали, в поле. В поле я остановилась, до того был прелестен восход солнца, вышедшего из-за леса Пушешников, и стало даже радостно на душе.

В этот день приехал из Москвы Лев Исаевич Гальберштадт. Он очень сожалел, что не застал Яна, так как ему надо было переговорить по делам «Северного Сияния». Пришлось ему провести сутки у Пушешниковых и удовольствоваться прогулками со мной. Он мне кого-то напоминал, но я о нем ничего не знала. Показывала ему усадьбу, сад, выходили вечером и в поле. Он очень жалел, что так неудачно приехал.

Когда я рассказывала о его приезде Юлию Алексеевичу, то он сказал:

— Вы знаете, он был связан с Сергеем Андреевичем Муромцевым, кажется, Сергей Андреевич был опекуном его и брата.

Тогда я вспомнила двух лицейстов — Леву и Осю Гальберштадтов, танцевавших на наших детских балах, а потом пропавших. Моя кузина Оля сказала мне, что после совершеннолетия Лева уехал в Париж, откуда вернулся «в одном балмаке», прокутив все свое наследство. Меня удивило, что Гальберштадт скрыл наше знакомство. Я не узнала его, не зная о нем ничего, но ведь он должен был знать, кто я. Решила, что ему неприятно вспоминать прошлое и, несмотря на довольно близкое знакомство и дружеские отношения, я никогда не заговаривала с ним о его лицейском периоде.

Вернувшись из Ефремова, Ян прежде всего написал письмо Нилусу, которое его очень мучило. Дело в том, что они весной створились, что Петр Александрович приедет в Васильевское и погостит у нас. Но состояние здоровья Софьи Николаевны не улучшалось, и трудно было ей принять в свой дом совсем незнакомого человека. Сначала Нилус хотел приехать на Кирики, но Ян попросил его отложить приезд, так как в этот день наедет много гостей и некуда будет его поместить. Мы надеялись, что, может быть, Софье Николаевне будет лучше после приезда родных. Но

лучше ей не стало. Ян понимал, что нельзя в доме больной хозяйки принимать гостей. Он долго мучился, наконец, 29 июля послал письмо Петру Александровичу. Сначала сообщил ему, что Телешов затевает сборник в пользу наборщиков, с той платой авторам, какую они привыкли получать. Просит прощения, что он уже отдал Телешову рукопись его и назначил плату по 200 рублей за лист. Сообщает, что и Горький, и Кудрин согласились дать рассказы в этот сборник. Сообщает о приезде Гальберштадта, чтобы посоветоваться, как быть дальше с «Северным Сиянием». Оказалось, что июльский номер нельзя выпустить, не сделав долга. Теперь идут переговоры с Саблиным.

Затем приступает к самому щекотливому вопросу — к приезду Петра Александровича в Васильевское. Привожу выдержку из этого письма:

«Совестно мне это говорить, дорогой, — ведь на август ты хотел сюда приехать, — да что же делать? Осточертело мне все здесь, изморило погодой. Да и в доме у нас — точно покойник. Сестра (не Маша, а Софья, владелица моего приюта) форменно сходит с ума: вот уже третий месяц (со времени смерти одного соседа, погибшего от рака) бродит как тень и молчит как могила — вообразила, что и у нее рак, или что-то в этом роде. Ездит по докторам — те дают бром, боржом... — была у мощей в Задонске, посылает каждую неделю к бабке. Думали, — пройдет все это, но дело все хуже...»



Август был погожий, и Ян написал много стихов, проводя все время в маленькой белой комнате рядом с его кабинетом. Там стояла узкая железная кровать, и он часто лежал на ней и писал, писал. Но, к сожалению, он стал болеть своей болезнью — страхом холеры. Хотя она свирепствовала еще только на юге и появилась в Петербурге, он уже перестал есть что-либо сырое, умолял и меня воздерживаться и от огурцов, и от фруктов... Урожай же, как нарочно, был редкий, и уже по дороге к саду с поля чувствовался издали аппетитный аромат яблок.

У меня записано в моем конспекте этого лета:

«...4-го августа написаны стихи «Собака» — эти стихи навеяны собакой Горького, сибирской породы, с белой шерстью, очень спокойной, всегда прежде чем лечь, кружилась, а потом уже устривалась у ног кого-нибудь.

6-го августа написана «Могила поэта».

8-го — «Морской ветер».

13-го — «До солнца».

14-го — «Вечер» и «Полдень», который его очень веселил.

16-го — «Старинные стихи», «Сторож», «Берег», который мне больше всего нравился.

17-го — «Спор».

Все это время Ян был в хорошем настроении. По вечерам в поле он читал нам с Колей стихи, иногда сидя на омете. Коля критиковал. Ян спокойно выслушивал, возражал, иногда кое-что изменял.

Я же чувствовала себя не очень хорошо. Мучило, что у меня не было своих занятий, и я должна была их выдумывать, чтобы заполнять досуги.

*

В Москву мы приехали в начале сентября, остановились у моих родителей.

В три дня Ян написал начерно первую часть «Деревни». Иногда прибегал к маме, говорил: «жуть, жуть», и опять возвращался к себе и писал.

Были у Телешовых, обедали. Кроме нас к ним пришел вечером Александр Андреевич Карзинкин с бутылкой старого вина и угостил им Яна.

После обеда Ян читал свои стихи. Александру Андреевичу понравился больше всего «Берег», мне было приятно: мы сошлись во вкусах. Я всегда ценила его тонкое понимание стихов.

Вскоре после этого со мной случилась беда.

Как-то упрям я села за пианино и что-то начала разбирать. Вдруг все ноты слились и стали белыми: я ослепла на полчаса, появилась боль в голове.

Наш доктор, Владимир Федорович Флеров, приказал сделать анализ крови, который и показал у меня сильнейшее малокровие, — это после обильного деревенского питания, где подавали на стол, по определению Яна, «сундук котлет», необыкновенно вкусных, нигде таких не ела! Гемоглобина у меня было 35 процентов!

Прописан был строгий режим, усиленное питание, много лекарств.

Ян собирался поехать в Одессу, мама стала уговаривать его не откладывать своего отъезда:

— Без вас Вера скорее поправится, мы устроим ей санаторный образ жизни.

И Ян уехал. Действительно, мама поправила меня в три не-

дели. Весь дом жил для меня, стараясь, чтобы мне не было скучно. Днем я иной раз бывала у своих подруг, где всегда меня заставляли есть. Раза два в день я пуляла с мамой и спать ложилась в девять часов.

Во время отсутствия Яна приехал в Москву Федоров, кажется, на неделю. Он ежедневно обедал у нас, чем был очень доволен папа, так как Федоров много рассказывал о литературной жизни. И папа сказал:

— Вот Иван Алексеевич ничего никогда не рассказывает, а ведь это очень интересно.

Шла премьера «Анатэмы» Андреева. У Юлия Алексеевича был абонемент, он был занят в этот вечер, предложил мне свое место в Художественном театре, но я из предосторожности отказалась, и Федоров побывал на первом представлении «Анатэмы».

Еще до возвращения Яна из Одессы был десятилетний юбилей Художественного кружка. На нем я была. Остался в памяти только скандал у дверей залы, где происходил ужин. Скандал сделал Тимковский Телешову из-за гонорара для сборника «Помощи наборщикам». Запомнилось темное озлобленное лицо Тимковского, его прубое слово, бледное лицо Николая Дмитриевича.



Ян вернулся в Москву чуть ли не накануне юбилея Телешова, праздновавшего двадцатипятилетие своей литературной деятельности.

Юбилей происходил не в большом зале Кружка, а в другой комнате. Мы сидели за главным столом: Ян — рядом с Еленой Андреевной Телешовой, а я между юбиляром и артистом Южиным, который за весь ужин не проронил ни единого слова, кроме речи, посвященной юбиляру. Запомнилась очень остроумная речь Кати Выставкиной, литераторши, которая с милой улыбкой говорила Николаю Дмитриевичу всякие комплименты. Она была хорошенькой, и было приятно на нее смотреть.

После юбилея я познакомилась с Бибиковыми. Я знала, что она была одно время женой Яна, но, конечно, не знала всех подробностей их жизни и разрыва, хотя Ян и говорил, что она бросила его и он иногда цитировал ее записку: «Уезжаю, Ваня, не поминай меня лихом...»

Она была на вид старше Яна, небольшого роста, с короткой шеей, в пенсне, стриженная, как стриглись в семидесятых и восьмидесятых годах передовые девушки и женщины. На ней была крахмальная рубашка с галстуком и костюм тайер. Мы столкну-

лись с ней при выходе из столовой в узком проходе, я быстро отошла, чтобы не мешать им, а минуты через три Ян подошел ко мне и взволнованно сказал:

— Представь, я сообщил ей, что у меня подагра, а она вдруг ответила: «подагра и паук», — это, как ты знаешь, одно из наших частых выражений...

Я, по правде сказать, тогда не поняла, почему это его взволновало. А теперь, после того, как я изучила его жизнь, понимаю: это напомнило ему их прежнюю жизнь и всю драму, которую он пережил, а, может быть, и не вполне...

*

Сам Бибииков был совершенно другого типа: высокий, широкоплечий, с очень милым, приветливым лицом, правильными чертами, с большими темными глазами, сильный брюнет. Он стал очень ласково говорить, что хорошо бы повидаться. И мы пригласили их на 1 ноября к нам обедать, — они жили в номерах «Столица» на Арбате и, конечно, им было очень неудобно с кухней, тем более, что у них была десятилетняя девочка, которая училась по классу рояля в консерватории.

*

Не помню хорошо, до этого дня или после Ян позвонил к нам по телефону и сказал, чтобы я приезжала с Колей в Большой Московский и захватила рукопись, он там будет читать «Деревню».

Когда мы вошли в отдельный кабинет, то увидели Карзинкина, Телешова, Белоусова и еще кого-то.

На столе стояли бутылки, вина, закуска.

Ян приступил к чтению и прочел всю первую часть. Читал он хорошо, изображая людей в лицах. Впечатление было большое, сильное. Даже мало говорили.

1 ноября у нас был обед. Мама была рада, что Ян пригласил Бибииковых. Варвара Владимировна была уже членом женского клуба и нравилась моей маме. Она ничего не знала о ее прошлом. Я же о нем поведала только младшему брату, зная, что он не будет болтать. Кроме Бибииковых были Юлий Алексеевич и братья Пущешниковы, кажется, Митюшка снимал уже у нас комнату, в которой раньше жил мой брат Митя.

За обедом было очень оживленно, потому что не все знали об отношениях Варвары Владимировны и Яна. Конечно, больше других говорили мама и Варвара Владимировна что-то о женском

клубе, о Варваре Алексеевне Морозовой, которая поддерживала этот первый московский женский клуб и была в нем председателем. Ян подслушивал над Арсением Николаевичем и над Колей, Юлий Алексеевич сообщал всякие новости, и политические и литературные. К концу обеда, когда мы уже встали, чтобы идти пить кофий в гостиную, горничная подала мне телеграмму. Я почувствовала страх: не из Ефремова ли? — мать Яна была почти все время нездоровая.

Распечатав ее, прочла: «Сердечный привет от товарищей по разряду. Котляревский».

Я как-то оторопела. Мне было неизвестно, что в этот день происходило избрание академиков. Я взволнованно посмотрела на Варвару Владимировну, которая стояла под большой фотографией Святой Цецилии из Дрезденской галереи, а в уме пронеслось: «жизнь дает такое, что если бы написал романист, нашли бы это надуманным». Узнав, Варвара Владимировна еще больше побледнела, но внешне была спокойна и через минуту сказала радостно: «поздравляю вас». Выпив наскоро кофий, Бибиковы простились. Мы позвонили Зайцевым и позвали их, как и Телешова, в «Прагу», куда отправились вместе с Юлием Алексеевичем, Павликом и Пушешниковыми. Все были взволнованы, возбуждены и радостны от такого неожиданного известия.

В октябре Бунин и Куприн получили по половине Пушкинской премии, и Куприн написал Яну очень дружеское письмо.

Ян из-за поездки в Одессу этой осенью не был в Петербурге, да и холеры побаивался, а потому и не знал о том, что в Академии будут выборы почетных академиков. А как нам потом рассказал Александр Андреевич Карзинкин, по Москве в этот день ходили слухи, что академиком изберут Брюсова. Карзинкин прибавил: «и я огорчился, что не Иван Алексеевич».

В «Праге» все, начиная с хозяина Тарарыкина и кончая половыми, были очень довольны и радостно поздравляли Ивана Алексеевича. Приехал Телешов и еще кто-то. Было оживленно и весело. Засиделись далеко за полночь. Ян с радостным лицом ел своего хрустящего рябчика, запивая его хорошим красным вином.

*

На следующий день были в Кружке. Войдя с площадки в комнату, где висели портреты (Андреева работы Серова и другие), мы увидели спускающегося по лестнице Брюсова. Он с серьезным лицом подошел к Бунину:

— Искренне поздравляю.

Потом к Яну подбежал адвокат Сахаров со словами:

— Как это вы тогда в Ялте знали, что будете академиком?

Это случилось в ту весну, когда Художественный театр ставил для Чехова в Крыму свои пьесы.

Сахаров тогда посоветовал Ивану Алексеевичу уехать из Крыма, так как там было много знаменитостей, и, по мнению Сахарова, это мучило Бунина. Иван Алексеевич дал ему отпор, ответив, что у него свой путь и что он будет академиком. Сахаров был возмущен таким самомнением. Теперь он растерянно улыбался и поздравлял.

Через несколько дней мы поехали в Петербург. Остановились опять в «Северной» гостинице.

Ян нервничал. Ему сочувствовал Михаил Иванович Ростовцев, который из-за холеры жил не в меньшей панике.

В первый же вечер мы ужинали у Палкина вместе с Ростовцевыми и Иорданскими. Наши паникеры сели рядом и, спросив себе только по рябчику, приказали подать подопретого красного вина и горячей воды, в которой они ополоснули стаканы, тарелки. Притронуться до чего-либо другого они боялись.

Здесь мы узнали, что была выставлена кандидатура и Куприна, но ее отвели из-за страха, ибо по регламенту каждый академик, приехавший в какой угодно город, может потребовать в любое время зал и для пользы отечественной литературы имеет право сделать доклад. И вот испугались, что Куприн может натворить Бог знает что, если окажется в непрезвтом состоянии. И вместо него выбрали Златовратского, так сказать, за прежние заслуги — ведь он был одно время «властителем дум».

Ян сообщил, что он встретился с Златовратским в Кружке, и тот сказал очень радостно:

— Ну что ж, мы теперь дедушка и внучек.

Узнав, что Бунин написал первую часть «Деревни», Марья Карловна и ее муж Иорданский стали просить, чтобы он отдал эту вещь в их журнал «Современный мир». Ян предупредил, что дешево не отдаст, и заломил высокую цену — пятьсот рублей за лист. Он добавил, что на другой день заедет в редакцию, там и договорятся. Предупредил, что вторая часть еще не написана, но он надеется кончить все к весне.

Несмотря на воздержанный ужин, и Ростовцев, и Ян ночью вызвали врачей, хотя ни единого признака страшной болезни ни у того, ни у другого не было, был только безотчетный страх.

Затем начались приглашения: «чашка чаю» у Ростовцевых, обед у Копляревских, ужин у Донона, где Марья Карловна назва-

ла Яна «дорогим», потому что он так дорого взял за свою «Деревню». Ян предлагал ей вернуть ему рукопись, но она уступить «Деревни» никому не захотела.

*

Нестор Александрович Котляревский руководил Яном. Давал ему советы, кому надо сделать визиты и так далее. Конечно, прежде всего нужно было поехать в Мраморный Дворец к председателю Академии Великому князю Константину Константиновичу.

О своих визитах Ян написал Нилусу:

«24 ноября.

Дорогой друг, беспутный образ жизни вел я последнее время — извини, замотался, на этот раз оно довольно простительно. Был, как ты знаешь, в Питере, трепетал холеры, но — пил, гулял, чествовали меня и пр. Визиты делал товарищам по Академии. Слава Богу... знакомства и поклоны происходят на первом заседании, где вновь избранный может говорить «вступительную речь» — так что я был только у Великого князя, да и того не застал: он уехал в Павловск, и я ограничился тем, что расписался. Приехал сюда дня четыре тому назад — опять немного загулял, тем более, что Вера осталась гостить под Петербургом, в Лесном у проф. Гусакова, вместе со своей матерью. Устал я порядочно, да и смертельно надоело бездельничать, да и чувствую себя нездоровым. Посему очень об оглетье в теплые края думаю, но куда еще не придумал. Когда ты сюда пожалуешь? Боюсь, что не увидимся. По-моему, необходимо мне в самом начале декабря исчезнуть из Москвы — через неделю вытребую сюда Веру и — за сборы. Но куда? Куда? Сухое, сухое место надобно...

О Куприне читал вчера в газетах: он уже в ПТБ, и рассказывает, что это перепутали: не он болен, а — жена! Ни на какую охоту я с ним не поеду — он, конечно, зол на меня ужасно, хотя отлично знает, что не виноват ни сном, ни духом, что не он оказался академиком. Да и тебе ездить не советую.

Слышал ли, что Найденов в Крыму и что его чахотка идет быстрыми шагами. Кроме того, умерла его дочка на днях, а он ее сильно любил. Огорчает меня это все ужасно...»

*

Ян уехал в Москву один после 20 ноября, а я осталась не в Лесном, как он сообщил Нилусу, а за Лесным в Сосновке, где министром финансов С. Ю. Витте был построен Политехникум с

пятью отделениями, с корпусами для студенческих общежитий и домами с квартирами для профессоров. Такого Политехникума в России еще не было и по устройству, и по организации. Витте пригласил многих профессоров, неудобных министерству Народного просвещения, как, например, Александра Сергеевича Постникова, которому предложил быть деканом экономического отделения; впоследствии он стал директором института после князя Гагарина.

Я часто гостила в Сосновке у Андрея Георгиевича Гусакова. У меня была там своя комната с балконом, выходящим в сосновый лес. Квартира была на четвергом этаже, и я очень любила в ветренный день сидеть на балконе и слушать шум бора, напоминающий взволнованное море. И чего, чего я не передумала во время этих бдений.

Хозяйство вела у Андрея Георгиевича наша тетя, вдова маминого брата, которая нас очень любила и старалась сделать все, чтобы мы чувствовали себя хорошо. Андрей Георгиевич был гостеприимный хозяин и меня очень баловал. Я могла приглашать всех, кого хотела, не только к себе, но и к обеду, и у меня бывали мои друзья, жившие в Петербурге. Кроме того, я была дружна с некоторыми профессорскими семьями, хотя жены все были старше меня, как С. Х. Гамбарова, Ф. О. Ельяшевич — я знала всех их с отроческих лет. Бывала я у Ден, у Гессенов. В то время у них были маленькие дети. Познакомилась я на теннисе почти со всеми лаборантами, с которыми в весну Первой Думы играла в теннис в белые ночи.

Ян, конечно, не очень охотно оставил меня, но мама уговорила. И она, и он были напуганы моей осенней болезнью. После слишком утомительной жизни в Петербурге, в связи с избранием Бунина в Академию, мне было полезно пожить на свежем воздухе, в хороших условиях, среди близких, заботящихся о моем здоровье людей.

Мне было, действительно, в Сосновке хорошо и весело, хотя отправляла мысль о Яне. Я боялась, что его в Москве зачествуют, ведь москвичи меры не знают. Успокаивало то, что он со своим племянником живет в моей семье, так что ему не очень одиноко. Прожив в Сосновке дней десять, я получила телеграмму: Ян заболел, ангина. Конечно, на следующий день мы с мамой выехали в Москву.

У Яна ангины проходили весьма болезненно. Лечил его Михаил Семенович Генкин, который говорил мне, что он поражен, как Иван Алексеевич ему рассказывает, что у него делается в

горле. Когда мы вернулись домой, Ян уже был болен два дня. Больной он был очень прудный, меня не отпускал ни на шаг из комнаты, только в кухню за чем-нибудь. Это было недалеко, но я к вечеру так утомлялась, так начинали ныть ноги, что казалось, будто я прошла десятки верст.

6 декабря он стал поправляться, но все же не позволил мне на пять минут выйти к гостям, пришедшим поздравить папу. Я даже не вышла к обеду.

Упоминаю это потому, что, заразившись от него ангиной, я была поражена его отношением ко мне. Он всегда был в бегах, а когда в Москву приехал Нилус, то возвращался домой часа в четыре утра. На меня это так действовало, что, вставши с постели, я имела такой вид, как будто перенесла очень тяжелую болезнь. А у меня ангина была в легкой форме.

Мама, видя мое состояние, успокаивала меня: «Понятно, он летает, он знает, что ты не одна, что за тобой хороший уход. Кроме того, у него и дела, и всякие свидания». Но меня это не утешало. Я еще не понимала, что такое жить с творческим человеком.

Во время моей болезни состоялось открытие в крюковской санатории комнаты имени Чехова для больных туберкулезом литераторов.

Мне было жаль, что я не попала на открытие. Ян хорошо рассказывал, как они с Нилусом по дороге в Крюково попали в один вагон с Иваном Павловичем Чеховым, как тот угощал их водочкой, пирожками и еще чем-то, все вынимая из корзинки, представлял, как он говорил. Ян находил, что он больше других братьев похож на Антона Павловича, восхищался его домовитостью, аккуратностью и чисто чеховской хозяйственностью.

В санатории после освящения комнаты был завтрак, очень обильный и много вина. Холод был сильный, и Ян боялся опять, что простудился.

На Рождество мы никуда не поехали, я окончательно поправилась только к праздникам.

Ян страдал от подагры, опускал в горячую соленую воду руки по локоть, по совету Голоушева, который сам страдал от этой болезни, а летом лечился грязями около Астрахани.

От Святок у меня остался в памяти вечер у моего брата Мити. Они с Зинаидой Николаевной жили на Новинском бульваре, в нижнем этаже деревянного двухэтажного дома Хомякова, председателя Третьей Думы.

У них я встретила бывшую знаменитость, балерину Гейтен, которая была замужем за единоутробным братом Луначарского.

Это был совершенно другого вида человек, толстяк с рыжими волосами. Про брата он сказал, что у него «мозги набекрень». Мать их, — родная тетка Ростовцева, сестра отца Михаила Ивановича Ростовцева, который, как и Луначарский, обладал способностью к языкам.

Михаил Иванович рассказывал, что он не только в совершенстве владеет итальянским языком, но умеет говорить и на диалектах: «Иногда итальянцы спорили, из какого я города», рассказывал он. Также не очень лестно отзывался о своем кузене, хотя и признавал, что тот способный, но Ростовцев не верил, что Анатолий Васильевич социалист по убеждению. В детстве я видела Гейтен в разных балетах, она была очень талантлива, а когда вышла в отставку, то стала давать уроки танцев. Мы, кузины, начали было брать у нее уроки, но заболели дифтеритом и затея была прекращена.

(Окончание следует)

Copyright by „Possev“

Главный редактор **Н. Б. Тарасова**

Редакционная коллегия:

**А. Н. Артемов, Б. А. Нарциссов, А. Н. Неймирок, А. И. Поплюйко,
В. Д. Самарин, Б. А. Филиппов.**

Адрес редакции журнала «Грани»:
Grany c/o Possev-Verlag, Frankfurt/M., Schlieffach 2786

Условия подписки на «Грани»: цена отдельного номера 6 н.м.,
подписка на четыре номера — 20 н.м.

Druck: Possev-Verlag, V. Gorachek KG, Frankfurt am Main

**ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ**

Г Р А Н И

№ 1

(РАСПРОДАН)

В номере:

Е. Романов — Вместо программной статьи; В. Каралин — Освобождение; С. Павлов — Чужой берег; С. Максимов — Танюша; Б. Башилов — Агентство «Молниеносный ответ»; М. О. Кубе — В гостях у «дикарей»; А. Угрюмов, А. Неймирок, Ф. Борисов — Стихи; Н. Витов — Гуманизм Федора Достоевского; Ж. П. Сартр — Новая французская литература; Проф. Д. С. — «Суриков, как художник-историк»; Р. Воробьев — По поводу статьи проф. Д. С. «Суриков, как художник-историк»; Библиография; Из мира литературы, искусства и науки.

№ 2

(РАСПРОДАН)

В номере:

Д. Новоселов — Клоун; С. Максимов — Прохожая; М. Кубе — На севере диком...; Ю. Гошин — Первый шаг; В. Гальской, В. Тополев, А. Котлин, С. Вонгарт, В. Завалишин, Р. Воробьев, И. Елагин, А. Парфенов, А. Угрюмов, А. Анстей — Стихи; Ф. Борисов — Россия и революция; С. Левицкий — Владимир Соловьев; Питирим Сорокин — Течение социальных отношений, войн и революций; Ф. В-в. — Древнерусская икона; Г. Стшелецкий — Автопортреты Рембрандта; Н. В. Ветлугин — Энергия атомного ядра; Библиография; Из мира литературы, искусства и науки.

№ 3

(РАСПРОДАН)

В номере:

Н. Александров — Бамбадон; С. Максимов — Царь Иоанн; Е. Гагарин — Велье ночи; Н. Табурин — Счастье; М. О. Кубе — Забытый адмирал; Проф. И. А. — Встречи с Сергеем Есениным; А. Котлин, А. Парфенов, А. Неймирок, В. Гальской, В. Марков, А. Угрюмов, В. Тополев, В. Завалишин — Стихи; С. Левицкий — Трагедия отвлеченного добра; Р. Воробьев — Социалистическая утопия в России; Николай Саввич — Критик-художник (памяти Петра Пильского); В. Филиппов — Чудодей песни; Е. Е. Климов — Певец крестьянской детворы; Н. В. Ветлугин — Энергия атомного ядра.

№ 4

(РАСПРОДАН)

В номере:

С. Максимов — Денис Бушуев; Г. Андреев — Новелла о танке; А. Неймирок — Сербские народные былины; Н. Моршен, В. Завалишин, В. Тополев, В. Филиппов — Стихи; В. Каралин — Застигнутый посреди дороги; Ф. Сиверцев — Язык и стиль Пушкина; Проф. А. Филиппов — Философия «как будто бы»; К. Сакс — Законы развития искусства; Е. Шугаев — Музыкальная жизнь Америки. В. Горич — Нефть; Библиография; В. Стремлев — Послевоенные звезды; А. Флауме — О трех учебных книгах; Из мира литературы, науки и искусства.

№ 5

В номере:

А. Землев — Родина ветловая; Бор. Зайцев — Сердце Авраамия; Г. Андреев — Встреча; Э. Хемингуэй — Революция; Д. Новоселов — В Коктебеле; Н. Моршенин О. Клычков — Стихи; Л. Ржевский — Живое и мертвое слово; Г. Иссако — Преодоленная эмигрантская поэзия; Н. Кошеватый — Воинствующий материализм, кризис культуры и грядущее новое сознание; Н. Осипов — Внутренняя эмиграция в СССР; В. Марков — О проблемах современной музыки; Е. Пугаев — Кризис современной архитектуры; С. Левицкий — Мировоззрение психоанализа; Н. Рутыч — Куликовская битва; В. Горич — О межпланетных путешествиях; Библиография; В. Стремлев — «Размышления о ювелирах».

№ 6-7

(РАСПРОДАН)

В номере:

С. Максимов — Денис Бушуев.

№ 8

В номере:

Л. Ржевский — Девушка из бункера; Г. Андреев — Соловецкие острова; Дм. Кленовский и Ник. Моршенин — Стихи; Мария Кригер — Отравленная туника; Всеволод Горелов — Бунтовщик и искатель; Капитан Воробьев — Советское танкостроение; Р. Редлих — Культ Сталина; В. Мерцалов — Сталин.

№ 9

В номере:

Л. Ржевский — Девушка из бункера; В. Мартов — Угасшие звезды; В. Филиппов — Монастырь; Святое Паозерье; А. Шишкова — Стихи; Л. Р-ский — Закат великих традиций; Н. Рутыч — К вопросу о развитии исторической мысли в СССР; С. Левицкий — Страх свободы; Н. Гаврилов — Цена достижений; Александр Уралов — Реставрация «критики и самокритики»; Библиография; П. Тверской — О русской песне; Л. Р. — Стихи сегодняшней нашей жизни.

№ 10

В номере:

Г. Андреев — Тамара; В. Мартов — Угасшие звезды; Григорий Климов — Диалектический цикл; Александр Неймирок — Стихи; Олег Ильинский — Стихи; Борис Филиппов — Петроград-Ленинград; Н. Громов — Кто победил?; А. Седов — Искусственное превращение элементов; Л. Ржевский — Светофоры на путях советского языкознания; В. Мерцалов — Животноводческая трехлетка; Н. Аркадьев — Книга, не достойная героев.

№ 11

В номере:

Л. Ржевский — Девушка из бункера; Д. Кленовский — Стихи; С. Юрасов — Из цикла «Переводы самого себя»; Н. Аркадьев — Когда-то осенью; Г. Круговой — Неприятная жертва; В. Марков — Стихи. Переводы; Документы нашего времени — ИТК; Жак Сорель — Запад

и мы; Н. Осипов и Р. Редлих — Сознание и «сознательность»; Г. Андреев — Годы рождения 1927 - 1930; В. Мерцалов — Закрепощение трудящихся и трудовые резервы СССР; Библиография; Отдел пародий.

№ 12

В номере:

С. Юрасов — «Враг народа»; О. Ильинский — Стихи; Г. Андреев, Л. Ржевский — Награда; Н. Моршен — Стихи; В. Филиппов — О многом; А. Шишкова — Стихи; Н. Берберова — Владислав Ходасевич; А. Трушнович — Берлин — окно в Россию; Э. Ройтер — Речь на собрании «Свободного Союза русско-немецкой дружбы»; Библиография.

№ 13

В номере:

Л. Ржевский — Между двух звезд (роман); Н. Соколов — Пути-дороги (роман); Г. Андреев — При взятии Берлина (рассказ); Стихи эмигрантского рассеяния; В. Мартов — Угасшие звезды (роман); В. Вышеславцев — Вольность Пушкина; В. Марков — Творческий облик А. Жиды; Н. Рутыч — Декабристы; Н. Тарасова — Поединок генералиссимусов; Л. Осипова — Стахановский миф; Отдел пародий.

№ 14

В номере:

Е. Гагарин — Возвращение корнета; В. Свен — Певчая печка; О. Анстей, А. Лисицкая — Стихи; В. Мартов — Угасшие звезды; В. Марков — Творческий облик Андре Жиды; С. Левицкий — Достоевский и кризис гуманизма; М. Балмашев — М. Н. Ермолова, великая русская актриса; Библиография.

№ 15

В номере:

А. Ремизов — Стекольник; А. Неймирок — В поисках; В. Филиппов — Два рассказа; Л. Алексеева — Стихи; А. Кашин — Желтая Волга; О. Ильинский — Стихи; В. Свен — Канал пяти морей; О. Емельянова — По следам гоголевского юбилея; В. Вейдле — Старость Шекспира; Документы нашего времени: Годы армии 1945 - 49; Р. Редлих — Актив — социальная опора советской власти; Н. Д. Добровольская-Завадская — Явления жизни в научном освещении. Библиография.

№ 16

В номере:

Н. А. Тэффи — Анюта. Русь; Л. Ржевский — У Тэффи; В. Ширяев — Овечь лужа; А. Неймирок, О. Можайская, А. Шишкова — Стихи; Г. Андреев — После концлагеря; В. Мерцалов — По Голландии; Г. Алексинский — Воспоминания о Н. А. Тэффи. Критика — Публицистика — Наука; Л. Р-ский — Когда Илья Эренбург молился; Н. Донец — Проблема истины и ее решение Лениным; С. Левицкий — Безумие рационализма; Н. Рутыч — Казань. Библиография.

№ 17

В номере:

Л. Алексеева — Весенний цикл; И. Сургучев — Кающийся бес; Н. Тарасова — У границы; А. Кашин — Ожидание; В. Свен — Пришвинское; С. Орлов — Из лирического блокнота (стихи); Н. Соколов — Пути-дороги;

В. Свен, А. Искандер — Охотничьи рассказы; Н. Кошеватый — Встречи с А. Вельм; А. Трушнович — Кембридж; В. Самарин — Фронт в тылу; Н. Арсеньев — Русские просторы и народная душа; Р. Редлих — Работники большевистского аппарата; Книжное обозрение.

№ 18

В номере:

И. Бунин — Сны; В. Филиппов — Счастье; Г. Андреев — Будет хорошо; Г. Петров — Ленинградский Петербург; Ф. Варков — Строители Петербурга; А. Кашин, А. Лисицкая — Стихи; В. Гроссман — За правое дело (главы из романа); Н. Анатольева — В неравном бою; В. Самарин — Фронт в тылу (из опыта минувшей войны); В. Ильин — Сергей Прокофьев. Книжное обозрение.

№ 19

В номере:

А. Кашин — Мои знакомые. Повесть первая. Мишка и другие; А. Дар, Олег Ильинский, Александр Неймирок, Екатерина Таубер, Игорь Чиннов — стихи; В. Свен — Каламбай; Алексей Ремизов — Статуэтка; Ирина Сабурова — Вара; Документальная проза; Лев Дувинг — Великая скорбь; Критика и публицистика; Н. Тарасова — Тринадцатый апостол; Гр. Забежинский — Н. Г. Чернышевский и его «эстетика»; С. Левицкий — Об одной забытой полемике; В. Марков — Человек в джунглях; Книжное обозрение.

№ 20

В номере:

Л. Ржевский — Памяти И. А. Бунина; И. Сургучев — «За чахохбили» (сцена из пьесы «Вождь»); А. Кашин — Мои знакомые. Повесть вторая. Чоротово колесо; Л. Алексеева — Маленькие рассказы: Тедди из Стокгольма. Экватор. Падение Семена Семеновича. Как мы были артистами. Золотые туфельки; К. Гершельман — Стихи; В. Ширяев — Горка Голгофа; В. Самарин — Город контрастов — Нью-Йорк; Ф. Варков — Художник Ф. Я. Алексеев, родоначальник русского городского пейзажа (1753 — 1953); Алексей Ремизов — Потихоньку, скоморохи, играйте; Н. А. Горчаков — Еврейнов; Н. Тарасова — Тринадцатый апостол; Д. Кленовский — Ожультные мотивы в русской поэзии нашего века; Н. Арсеньев — О духовной традиции и о «разрывах» в истории культуры; Книжное обозрение.

№ 21

В номере:

Л. Ржевский — Сентиментальная повесть; Д. Кленовский — Два стихотворения; Анатолий Дар — Солнце все же светит; О. Анстей, Борис Нарциссов — Стихи; В. Свен — Селигер; В. Унковский, Т. Алексинская — О Куприне; В. Самарин — За спинами героев; Л. Осипова — Дневник коллаборантки; Борис Филиппов — Глухие времена стенья; Гр. Забежинский — Критическое о критиках. Книжное обозрение.

№ 22

В номере:

Георгий Петров — Ее не будет больше никогда; Л. Алексеева — Мой осколок; Н. Неймирок — Товарищ баронесса; А. Кашин — За жизнью жизни!; А. Ремизов — Три сказки; В. Свен; — Серка; И. Сургучев — Письмо Перикола; В. Филиппов — Стена; А. Лисицкая — Сонеты; Анатолий Дар — Солнце все же светит; А. П. ЧЕХОВ. Этторе Логат

го — Чехов в Италии; Николай Татищев — А. П. Чехов и французы; К. Фитцлайон — Чехов в английской литературе; Грета Йельм — Чехов-драматург в Швеции; Виллиам Йенсен — «Вишневый сад» в Дании; А. Н. — Чехов у сербов; Глеб Струве — Чехов, Мейерхольд и фальсификаторы; В. Марков — О Хлебникове; С. Левицкий — С. Л. Франк и его учение; Е. Двойченко — Маркова — Пулково и американские астрономы; Книжное обозрение.

№ 23

В номере:

В. Свен — Бунт на корабле; Л. Алексеева — Стихи; А. Франк — Героические рассказы; Анатолий Дар — Солнце все же светит (роман); А. Касим — Стихи; Федор Пульман — Сердце Фландрии; А. Крамаровский — На святой земле; Л. Дувинг — Великая скорбь; Д. М. Кленовский — Казненные молчанием; Н. Тарасова — Об источниках живой воды; Г. Забежинский — Критическое о критиках; Н. Татищев — О современной французской мысли; Книжное обозрение.

№ 24

В номере:

Анатолий Дар — Солнце все же светит; Из русской зарубежной поэзии — Александра Васильковская, Григорий Забежинский, А. Неймирок, Сергей Орлов, Екатерина Таубер, Борис Филиппов, Игорь Чиннов; А. Землев — Из цикла «Родина ветловая»; Е. Яконовский — Небесные фонарики; Рости — Письма о Канаде; Н. Анатольева — В поисках выхода; Борис Нарциссов — Бунни — поэт; Борис Филиппов — Константин Леонтьев и эстетика жизни; Н. Татищев — Сновидение Фридриха Гельдерлина; Книжное обозрение.

№ 25

В номере:

А. Кашин — Вавилоновы звенья; Из русской зарубежной поэзии — Олег Ильинский, Андрей Ермаков, Борис Нарциссов Фридрих Гельдерлин; И. Шмелев — Солдаты (главы из романа); Н. Неймирок — Катя; М. Сабашникова-Волошина — Невеста; Рости — Письма о Канаде; А. Ремизов — Три письма Горького; Н. Татищев — На персидской границе; Анкета философа; В. Марков — Легенда о Есенине; К. Федоров — Без числа и без меры; С. Левицкий — Гносеология самопознания; Проф. В. Вышеславцев — Массовая психология; Проф. Н. Лосский — О возникновении русской революции и смысле ее; Г. Юрьев — Душителю духа; Заметки о книгах и журналах.

№ 26

В номере:

Анатолий Дар — Солнце все же светит (продолжение); И. Сургучев — Бред; Л. Алексеева — Стихи; А. Светланин — Вечное и переходящее; Н. Анатольева — Два юбиляра; В. Литвинов — Сэнт-Экзюпери или этика ответственности; В. Арсеньев — Сэнт-Экзюпери о людях и любви; С. Левицкий — Свобода и творческое воображение; А. Мазурова — «Беатиче»; А. Николин — Некоторые черты титолозма; В. Яновский — Кампания по сокращению штатов; А. Шик — Всеволод Мейерхольд и русский театр; В. Арсеньев — Образы минувшего; И. Сергеев — Книга о польской Голгофе; Р. Ренниг — Кооперация в России; А. Светов — Лисий хвост; Г. Петров — О том, что не на потребу.

№ 27 - 28

В номере:

Джордж Орвелл — 1984 (роман). Перевод с английского В. Андреева и Н. Витова; О КИТАЕ: Китайские рассказы. Тир. Веселые приключения «Вот-здесь». Судьба. Жу-ши — Мать-рабыня. Янг Чен-шен — Якорь. Перевод О. Фомина; Н. Татищев — Китайские поэмы; К. Глебов — Коммунизм XI века; Гуан Тэ-Мао — Китайские коммунисты как «аграрные реформаторы»; А. Светланин — Преходящее и вечное; Н. Цуриков — «Кровавое воскресение» в Кемптене; В. Литвинов — Даниил среди львов; Г. Петров — забытые юбилеи; Проф. Н. Лосский — Персонализм против материализма; Проф. Н. Арсеньев — Паскаль; Е. Двойченко-Маркова — Америка и американская революция в русской литературе; Л. Зальцберг — Европейское Объединение угля и стали; Заметки о книгах и журналах. Политические документы.

№ 29

В номере:

Ф. М. Достоевский — Записки из подполья, часть первая. Сон смешного человека, фантастический рассказ. Пушкин, очерк; профессор М. Л. Гофман — Жизнь и творчество Ф. М. Достоевского; Борис Тих — Холодная война с тенью писателя; С. Левицкий — Об «амнистии» Достоевского; Нина Федорова — Вор, рассказ; Владимир Смоленский — Стихи; Татьяна Кудашева — Сказание о вечности, рассказ; Александр Котлин — Стихи из цикла «Флаг в море»; А. Кашин — «Товарищи, Кронштадт наш!», пьеса; А. Светланин — Преходящее и вечное. Советские портреты. Окончание; Л. Дувинг — Кронштадтское восстание в документах; Профессор П. Кованьковский — Советский империализм; В. Арсеньев — Проблемы молодежи и педагогики; Ник. Андреев — О том, чего не случилось; Р. Плетнев — Неоправданная храбрость; Александр Шик — Новый труд об Александре I; А. Светов — Унылые «бодрячки»; Л. Зальцберг — Движущие силы ГФР; В. Кунгурцев — издание Академии Наук СССР. Политические документы.

№ 30

В номере:

Джордж Орвелл — 1984, роман. Перевод с английского В. Андреева и Н. Витова; Лидия Алексеева — Стихи; Из шведских поэтов — Переводы Л. Ржевского; П. Ильинский — Три года под немецкой оккупацией в Белоруссии; А. Неймирок — О современной русской лирике в Советском Союзе (1953 --1956 гг.); Николай Оцуп — М. А. Шолохов; А. Чемесова — Путешествие без карты; А. Светланин — XX съезд КПСС; А. Столыпин — Персональные изменения в ЦК КПСС; А. Двойченко-Маркова — Джефферсон и декабристы; Н. Лосский — Ответ советским критикам «Истории русской философии»; Л. Сергеева — Неисторический документ; Заметки о книгах и журналах; Политические документы.

№ 31

В номере:

Джордж Орвелл — 1984, роман. Перевод с английского В. Андреева и Н. Витова; Д. Кленовский — Стихи; Г. Климов — Формула власти (Отрывки из романа); В. Нарциссов — Стихи; Е. Яковлевский — Кафе «Аполло», рассказ; Николай Оцуп — Два стихотворения; Ив. Новгород-Северский — Сибирские сказки; П. Ильинский — Три года под немецкой оккупацией в Белоруссии; А. Неймирок — О современной русской лирике в Советском Союзе (1953 -1956 гг.); А. Кемпфер — Поэзия Леонида Мартынова; С. Маковский — Д. С. Стеллецкий; А. Поплюйко — Шагает атомный век... С. Левицкий — Об упадке философии; Н. Татищев — Опыты религиозной философии в США; Р. Плетнев — Иерархия ценностей; Заметки о книгах и журналах; Политические документы.

№ 32

(РАСПРОДАН)

В номере:

Александр Иванов — Узкой тропой, стихи; Письма из Москвы; Лев Дувинг — «Дорога к социализму» (Венгерская революция); Евг. Замятин — Наводнение, повесть; Современная русская литература; Психология творчества; А. Кашин — Художник и человек; Ник. Андреев — «Ересь» Замятина; Нина Федорова — Дети, роман; Н. Моршен — Два стихотворения; Р. Туров — Рассказ Ивана Ивановича; С. Макавский — Зимой, цикл стихотворений; Николай Оцуп — Персонализм как явление литературы; А. Кузнецова — Ожматдет на поводу у советской власти; С. Левинский — Тихайший философ; Е. Двойченко-Маркова — Вениамин Франклин и Россия; Заметки о книгах и журналах; Политические документы.

№ 33

В номере:

Конгресс за права и свободу в России; Резолюция Конгресса за права и свободу в России; Н. Тарасова — Культурная и духовная жизнь современной России; Евг. Евтушенко — Станция Зима (поэма); Ю. Нагибин — Свет в окне, рассказ; А. Неймирок — Стихи; Борис Зайцев — Дни; Олег Ильинский — Стихи; Нина Федорова — Дети, роман; Ю. М. — Лагерные стихи; Борис Тих — О романе Дудинцева «Не хлебом единым»; Екатерина Таубер — В пути находящиеся; Ник. Андреев — Литература в изгнании; Н. А. Горчаков — «Марксистская теория театра»; Н. Евреинov — Любовь актера; К. Федоров — Третье звено диалектической триады; С. Германов — «Ставка на сильных»; Заметки о книгах и журналах; Политические документы.

№ 34 - 35

В номере:

Стихи из России; Нина Федорова — Дети, роман; Николай Оцуп — Антихрист, стихотворение; Сергей Макавский — Раздумья, цикл стихотворений; В. Самарин — Счастье, рассказ; Лидия Алексеева — Стихи; Н. Нарок — Прошлогодний снег, рассказ; Сергей Рафальский — Поэма о потустороннем мире; А. Мазурова — Восьмушка гороха, рассказ; Из современной венгерской поэзии. Переводы А. Неймирока; Лада Николенко — Королева Анна, очерк; Алексей Ремизов — Со креста; Велуха; Ник. Андреев — А. М. Ремизов; Георг Палоци-Хорват — Янош Кадар; Анатолий Орлов — Дагестанское восстание 1934-35 гг.; Н. Оцуп — Гуманизм в СССР; В. Филиппов — Погорельщина; Б. Литвинов — Восстание совести; Н. Дешевой — Атлантида и Америка по древним преданиям; Ю. Марголин — О свободе; Р. Редлих — Доктрина революции в холодной войне; Д. Стефко — Реорганизация управления промышленностью; Заметки о книгах и журналах; Политические документы.

№ 36

В номере:

Борис Пастернак — Стихи; Л. Ржевский — Паренек из Москвы, повесть; Русская поэзия в СССР: А. Ахматова, В. Луговской, Н. Заболоцкий, С. Кирсанов, Л. Мартынов, В. Ширяев — Кудеяров дуб, повесть; Сергей Макавский — Н. С. Гумилев; Г. Нео-Сильвестр — Охтенская «богородица»; В. Завалишин — Александр Блок и русская революция; К. Фотиев — Нетленная краса (О романе В. Пастернака «Доктор Живаго»); Н. Рутыч — Россия и революция в 1917 году; А. Светов — Коммунизм и мир; Ю. Марголин — О свободе; Библиография. Политические документы.

№ 37

В номере:

В. Ширяев — Кудеяров дуб, повесть (окончание); Русская поэзия за рубежом: Д. Кленовский, Лидия Алексеева, Олег Ильинский, О. Анстей, Сергей Рафальский, Е. Таубер; Н. Анатольева — «Цель творчества — самоотдача...»; Александра Мазурова — Томас Вольф и его судьи; В. Пав-

лов — Размышления над «Искусством»; А. Поплюйко — Астронавтика — мечты и действительность; С. Кирсанов — Сорок лет советской экономики; Н. Рутыч — Брест; Библиография; Политические документы.

№ 38

В номере:

Голоса молодой России — Роберт Рождественский, Евгений Евтушенко, Я. Аким, Евгений Винокуров, Юнна Мориц, Владимир Гордиенко, Белла Ахмадулина, Иван Рядченко, Иван Харабаров, Валерий Рыжик, Владимир Соколов, Наталия Астафьева, Сергей Давыдов, Владимир Цыбин, Владимир Фирсов, Майя Борисова, Анатолий Поперечный, Александр Коренев — с предисловием И. Гусева; А. Кашин — Крест на солнце, рассказ; Отец Павел, рассказ; Петр Ершов — Кирильбюбу, рассказ; Г. Климов — Все люди братья, глава из романа «Имя мое легион»; Проф. М. Новиков — Первые шаги в эмиграции; Михаил Берлогин — Из воспоминаний советского журналиста; Николай Оцуп — Свобода творчества; В. Майцев — Два течения в литературе и искусстве народов Кавказа; А. Мазурова — Мир любви; Н. А. Горчаков — Борьба за новое в советской кинематографии; А. Поплюйко — Ученые России в советской науке; Р. Плетнев — Закат Европы; Проф. Н. Арсеньев — А. С. Хомяков; С. Левицкий — По ту сторону славянофильства и западничества; Библиография; Политические документы.

№ 39

В номере:

Жорж Бернанос — Записки сельского священника: Стихи из России. П. Востоков — Из пережитого (Вместо вступления — Ник. Оцуп); Поэты русского зарубежья — Лидия Алексеева, Сергей Маковский, Михаил Даргаганов, Сергей Рафальский; Лев Дувинг — Великая скорбь (Из третьей части); В. Литвинов — Соблазн отчаяния; Ю. Терапиано — «Смотр»; Николай Еленев — Кем была Марина Цветаева? Н. Евреинов — Живопись и театр; А. Иванов — Дворец науки — символ международного сотрудничества; Сергей Левицкий — Апостол современного рационализма; Проф. Н. Лосский — Украинский и белорусский сепаратизм; † К. Федоров (К. Штепа) — «Сталинизм» и «хрущевизм»; Библиография; Политические документы; Н. Анатольева — Между двумя съездами.

№ 40

В номере:

«Дело» Пастернака; Борис Пастернак — Избранное; Николай Оцуп — Подвиг одиночки; Н. Анатольева — Пастернак и мировая общественность; Р. Редлих — Философские выписки из «Доктора Живаго»; Михаил Берлогин — Сон о жизни; Василий Барсов — О Пастернаке; Жорж Бернанос — Записки сельского священника (перевод с французского Е. Таубер); Н. Человский — Коммунистический империализм; С. Кирсанов — Школа в свободной России; В. Трельм — Будущее государственных займов СССР; В. Сергеев — Объективные элементы революционного процесса в России; Ив. Сергеев — Банкротство; † В. Арсеньев — «Миссия»; Л. З. — Советский человек; Л. Зальцберг — Ядерное оружие и внешняя политика; М. Шведова — «Волк из Лазквэра». Документы за октябрь-декабрь 1958 г.

№ 41

В номере:

Нина Федорова — Революция. (Отрывки из романа «Жизнь»); В. Емельянов — Ночь на Босфоре. (Отрывки из повести «Рейс»); Я. Темкин — Три рассказа: Вечером. Деловая встреча. Разговор с хозяйкой; Н. Саблин — Подслушанный аккорд. (Рассказ); Лада Николенко — Петербург в Ле-

нинграде. (Отрывки из «Повести о потерях»); Из поэзии российского зарубежья — А. Анстей, И. Буркин, Александра Васильковская, Михаил Дараган, О. Можайская, Александр Неймирок, Ирина Одоевцева, София Прегель, Сергей Рафальский, Константин Халафов, Аглая Шишкова; З. Арбатов — «Ноллендорфплатикафе»; Георгий Мейер — Неузнавший поэт бессмертия; И. Гусев — Вопросы без ответов; Тончо Караушков — Молодая болгарская поэзия; Н. Евреинов — Живопись и театр; Н. Дешевой — О первоисточниках человеческого знания; Проф. прот. В. Зеньковский — Христианские предпосылки знания; Н. Рутыч — Внутривидовая борьба после XX съезда; А. Столыпин — Влияние ревизионизма на внешнюю политику СССР; Л. Зальцберг — «Политическая экономия»; Прот. В. Зеньковский — «Трагедия свободы»; Лидия Алексеева — «О главном — стихами»; А. Неймирок — Тайны радости; В. Литвинов — Белые ризы и ирландские руки; Проф. В. П. Зубов — Слово о полку Игореве; М. Шведова — Один из многих.

№ 42

В номере:

Л. Ржевский — Две недели. (Записки с больничной койки); † Борис Ширяев — Хорунжий Вакуленко. (Неоконченная повесть); Александра Мазурова — «Только всего — жизнь!..» (Повесть); Аглайда Шиманская — Эпизод. (Рассказ); Из украинской современной поэзии — Микола Зеров, Максим Рыльский, Павло Филипович, Михайло Драч-Хмара, Павло Тычина, Володимир Свидзинский, Евгений Плужник, Олег Ольжич, Елена Телига, Олекса Стефанович, Юрий Клен, Евгений Маланко, Михайло Орест, Иван Багряный, Богдан Кравец, Порфирий Горотац (в переводе Игоря Качуровского); З. Арбатов — Встреча с Максимом Горьким; А. Случевская — Коростовец — Вспоминаю об отце; К. К. Случевский — Загробные песни; Письмо о поэзии П. Востокова; Эммануил Райс — Украинская поэзия нашей эпохи; Р. Плетнев — «Жизнь» — стихотворение в прозе; Михаил Верлогин — Из дневника критика; Н. Нароков — Принцип, преферанс и сапоги; В. Маньковский — «Взгляд, затянувшийся папироской...»; Федор Степун — Немецкий романтизм и философия истории славянофилов; Проф. Н. Алексеев — Природа и человек в философских воззрениях русской литературы; С. Левицкий — Заживо погребенный Век; Л. Федоров — «Педагогическая поэма» коммунизма; Николай Армазов — Участь страсти; К. Ф. — Жизнь писателя; И. Гусев — «Юность» — журнал молодых; Григорий Забежинский — О «Мостах» через пропасть; Г. Борский — Тарасов-Труай — французский академик; М. Шведова — Врачи в концлагерях; О. Красовский — Молодежь и коммунизм; М. Залевский — В защиту идеи промышленной демократии.

№ 43

В номере:

И. Гусев — Молодые писатели современной России. (Вместо предисловия); Юрий Казаков — Отщепенец. Нижкишкины тайны; Евгений Евтушенко — Четвертая Мещанская; Анатолий Приставкин — Трудное детство; О. Бубнова — Счастье; Юрий Курганов — Лето на Севере; Юрий Нагибин — Комаров. Старая черепаха; Евгений Носов — Живое пламя. Чирки; Илья Лавров — Из фиолетовой тетради. (Отрывок из повести «Девочка и рябина»); Эдуард Шим — В начале зимы; Анатолий Кузнецов — Продолжение легенды; Стихи из России — П. Востоков; Русская поэзия за рубежом — Сергей Рафальский, Лидия Алексеева, Иван Буркин, Анна Запольная; Л. Арсеньева — О Куприне; А. Куприн — Сонет («Учись, мой друг»); Р. Плетнев — Оттиски горячего сердца. (Письма Н. В. Гоголя); Н. Тарасова — Свет в окне; О. Можайская — Поэзия Эмили Дикинсон; Г. Забежинский — Бергсон и религия; Ю. Терапиано — Что нам может дать Индия?; С. Кирсанов — План и свобода в экономике; Федор Степун — Об «избранной» России; Г. Забежинский — Горький и Андреев; К. Фотиев — Россия и коммунизм; М. Шведова — «Нас ведут на кладбище...»; Екатерина Таубер — Разоренные гнезда.

№ 44

В номере:

Сорокалетие русской зарубежной поэзии; Ю. Терапиано — О зарубежной поэзии 1920—1960 годов; Избранные стихотворения зарубежных поэтов — Зинаида Гиппиус, Георгий Иванов, Николай Оцуп, Владислав Ходасевич, Марина Цветаева, Георгий Адамович, Лидия Алексеева, Лариса Андерсен, Ольга Анстей, Нина Вербова, Раиса Блох, Вера Булич, Анатолий Величковский, Тамара Величковская, Александр Гингер, Алла Головина, Михаил Горлин, Иван Елагин, Владимир Злобин, Юрий Иваск, Олег Ильинский, Борис Филиппов, Д. Кленовский, Ирина Кнорринг, Довид Кнут, Вл. Корвин-Пиотровский, Ю. Круэншперн-Петерен, Антонин Ладинский, Сергей Макаовский, Виктор Мамченко, Юрий Мандельштам, Владимир Марков, Николай Моршен, Вл. Набоков-Сирин, Борис Нарциссов, Александр Неймирок, Юрий Одарченко, Ирина Одоевцева, К. Померанцев, Борис Поплавский, София Прегель, Анна Присманова, Георгий Раевский, Сергей Рафальский, Елена Рубисова, Владимир Смоленский, Юрий Софиев, П. Ставров, Леонид Страховский, Глеб Струве, В. Сумбагов, Екатерина Таубер, Юрий Трубецкой, Николай Туроверов, Лидия Червинская, Игорь Чиннов, Анатолий Штейгер, Аглайда Шиманская, Аглая Шишкова, Георгий Эристов, Ирина Яссен; В. Унковский — Зарубежный Сургучев; Зоя Симонова — Свидетели защиты; Алексей Ремизов — Память сердца; Георгий Мейер — Топор Раскольников; Борис Филиппов — Разговор по поводу и без повода...; Николай Иркилин — Несимметричная механика; Проф. Н. Лосский — Буддизм и христианство; В. Трель и Л. Зальцберг — Заработная плата в СССР; Л. Зальцберг — Жизненный уровень в Западной Европе; К. Фотиев — «Воздушные пути»; В. Марков — Пауль Целан и его переводы русских поэтов; Сергей Левицкий — Книга о жизненном пути Бердяева; Николай Арсеньев — Церковь и народ; Н. Тарасова — Гражданин живой России; М. Шведова — «Одержимые и могучие».

№ 45

В номере:

Борис Филиппов — Пыльное солнце, рассказы; Анатолий Дар — Иван Подмоштин и его главная любовь; Русская поэзия за рубежом: Борис Нарциссов, Иван Буркин, Александр Неймирок, Борис Филиппов, Анна Запольная; Герман Ловцкий — Лев Шестов по моим воспоминаниям; Лидия Алексеева — Памяти В. Л. Пастернака, стихи; О. Анстей — Новый Пастернак; В. Завалишин — Борис Пастернак и русская литература; В. Марков — Советский Гамлет; Георгий Мейер — «Дух глухой и немой»; Н. Хохлов — У порога; А. Поплюйко — Проблема перестройки научных учреждений в СССР; Бор. Тих — Идеология несвободы; В. Кунгурцев — Результаты первого года семилетки; Э. Райс — Ветры Скифия; Г. Забежинский — Память сердца; А. Неймирок — Поэма о грусти; Л. Алексеева — «Причастность глубине»; В. Марков — «Когда разгуляется» в немецком переводе; Николай Арсеньев — Завещание Макалова

№ 46

В номере:

Георгий Иванов — Посмертный дневник, стихи; М. Форштеттер — Стихи. Предисловие С. Маковского; Н. Максимов — Смерть Афанасьева, повесть; Юрий Терапиано — Четыре стихотворения; Иван Буркин — Нью-Йоркские ямбы, Pro domo mea, Страница любви, стихи; Анатолий Дар — Иван Подмоштин и его главная любовь, повесть (продолжение); Г. Ловцкий — Лев Шестов по моим воспоминаниям (окончание); Георгий Мейер — «Дух глухой и немой»; Г. Забежинский — Французская литература (1959); В. Литвинов — Иностранная литература в СССР; Александра Мазурова — Вызов человеку; М. Берлоги — Художник; Сергей Левицкий — Об упадке созерцания; С. Кирсанов — Специализация и органическое единство науки и знания; К. Фотиев — Вера, действующая любовью. О ранней советской литературе; Александр Шик — «Генерал БО» — «Азеф»; С. Кирсанов — О капитализме и справедливости; Л. Зальцберг — Труды профессора Адольфа Вебера.

№ 47

В номере:

Тетрадь стихов из России; Б. Филиппов — Музыкальная шкатулка, повесть; Милан Ракич — Симонда. (Перевод Лидии Алексеевой); В. Самарин — Дом со стальной голубой, рассказ; Аглайда Шиманская — Стихи; Леонид Богданов — Quo Vadis, рассказ. Таких не надо, рассказ;

Николай Евсеев — Стихи; Александра Мазурова — «Только всего — жизни!..», рассказ; Т. Величковская — Закат, стихи; В. Бунина-Муромцева — Беседы с памятью; Н. Алексеев — В бурные годы. К пятидесятилетию со дня смерти Льва Толстого; Иван Раевский — Толстой и наука (востоманания); Николай Раевский — Жизнь и смерть Льва Толстого; А. Невежин — Предсмертное посещение Львом Толстым Оптиной Пустыни (со слов монаха-очевидца); Николай Раевский — Впечатления от Венецианского конгресса; В. Ермилов — Толстой-писатель; Сальвадор де Мадарьяга — Завет Толстого; Георгий Мейер — Хождение по мукам (опыт медленного чтения); Л. Зандер — Зло и отрицание (литературно-философский экскурс); И. Коротков — Современная психология, ее методы и значение; Лев Пар — НТС до войны (к 30-летию Народно-Трудового Союза российских солидаристов); Эммануил Райс — О четырех поэтах. Музей современной поэзии; Александр Шик — Путешествие в Россию сто лет назад; Л. Зальцберг — Устранение или обора. Сборник «Свободной экономики»; М. Залевский — О будущей России.

№ 48

(РАСПРОДАН)

В номере:

М. Нарича-Нарымов — Неспетая песня, повесть, присланная из России; Русская поэзия за рубежом: Сергей Рафальский, Лидия Алексеева, Михаил Дараганов, Елена Матвеева, Александр Неймирок, София Прегель, Екатерина Таубер; В. Бунина-Муромцева — Беседы с памятью (продолжение); Н. Алексеев — В бурные годы; Л. Ржевский — О тайнописи в романе «Доктор Живаго»; Георгий Мейер — Хождение по мукам (опыт медленного чтения); Сергей Львов — Голье люди; Сергей Левицкий — Патриарх русской философии; Л. Зандер — Зло и отрицание (литературно-философский экскурс); Прот. Д. Константинов — Духовная школа в СССР; Свящ. К. Фотиев — Посмертная книга Н. А. Бердяева; Борис Филиппов — Поэт теурлического действия; А. Мазурова — О «явном рабстве и тайной свободе» в советской литературе. — Г. Шишкин — Духовная биография Льва Толстого; Э. Райс — Позднее поэтическое цветение; А. Неймирок — Необычайная книга.

№ 49

В номере:

К восьмидесятилетию Бориса Зайцева; Дмитрий Кленовский — Из новых стихов; Владимир Костецкий — Окончание романа, рассказ; Стихи из России — Весеннее, «В альбом Элизе», Находка на толкучем рынке; Борис Филиппов — Из книги «Музыкальная шкатулка», рассказы; Т. Величковская — «Вышел месяц темной ночью...», стихи; Лев Дувинг — Возмездие, повесть; Борис Нарциссов — Случай с Авксентием Алексеевичем, рассказ; Эммануил Райс — Сорокалетие русской поэзии в СССР (1920-1960); Георгий Мейер — Хождение по мукам (опыт медленного чтения); Сергей Львов — Лепота; Сергей Левицкий — Оправдание духа (против духоморов); Прот. Д. Константинов — Внешняя политика Московской патриархии (за 1960 год); Е. Гаранин — Новый курс советской карательной политики; С. Сокольников — «Воздушные пути II»; В. Завалишин — «Разорвать... плен рутин!»; Борис Филиппов — Владислав Ходасевич; Г. Забежинский — Выдача, предательство, лагерь... 1945 года; Александр Шик — «Москва» Бориса Зайцева; Юр. Болышихин — Дружеские шаржи.

№ 50

В номере:

К пятидесятилетию журнала ГРАНИ; Алла Орбинская — Хождение по мукам. Орывок из «Героической поэмы»; Владимир Костецкий — Повесть без названия, повесть; Аглайда Шиманская — «Звонко встретил» — «Слушаю, алло!», стихи; В. Вондаренко — Гражданский долг, телешееса; Анна Запольная — «Вхожу с пустыми руками...», стихи; Роман Редлих — Решение, рассказ; София Прегель — «По лесу туман и лгение...», стихи; Владимир Самарин — Красная каша, миниатюры; Борис Филиппов — Воддан (Памяти Воддана Ивановича Сагатов — Леонид Воддана); Юрий Терапиано — Осип Манделштам; Георгий Мейер — Свет в ночи (опыт медленного чтения); Эммануил Райс — Сорокалетие русской поэзии в СССР (продолжение); Борис Нарциссов — Сила и материя. Переводы: Карл Ясперс — Философская автобиография; Карл Густав Юнг — Современность и будущее; Г. Шишкин — Литературное завещание; А. Марков — «Еврейская повесть»; Н. Тарасова — «По самой грани»; Политическая хроника.

В номере:

«Дело» Михаила Александровича Нарницы-Нарымова; К 125-летию со дня смерти А. С. Пушкина: В. Жуковский — Письмо к С. Л. Пушкину; Николая Еленев — Две сказки: Предводитель собачества. Под Млечным путем; К двадцатипятилетию со дня смерти Евг. Замятина: Евг. Замятин — Ела (повесть); Юрий Анненков — Евгений Замятин (воспоминания); П. Замир — В арестантском вагоне; Георгий Мейер — Свет в ночи (опыт медленного чтения); Эммануил Райс — Сорокалетие русской поэзии в СССР (окончание); стихотворное приложение; Глеб Рар — Первые православные японцы; Карл Ясперс — Философская автобиография (продолжение); Карл Густав Юнг — Современность и будущее (продолжение); В. Савин — Финансовая система хозрасчета; С. Сокольников — Благодарная память сердца; Н. Тарасова — Лунный поэт; Г. Шишкин — Дальневосточная трагедия; Хронология важнейших событий (июль—декабрь 1961 год); Обращение издательства «Посев».